

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕМЕЦКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Выпуск III

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯЗЫКОВЫХ ФЕНОМЕНОВ

Ответственный редактор д-р филол. наук, проф. *С. Т. Нефёдов*



ББК 81.2Нем
Н50

Рецензенты: д-р филол. наук, проф. *В. В. Наумов* (С.-Петербург. гос. политехн. ун-т); канд. филол. наук, доц. *Т. В. Пономарева* (С.-Петербург. гос. ун-т)

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
филологического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета*

Немецкая филология в Санкт-Петербургском государственном университете. Вып. III: Антропоцентризм языковых феноменов: сб. науч. ст. / под ред. д-ра филол. наук, проф. *С. Т. Нефёдова*. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2013. — 184 с.
ISSN 2307-7824

Первые два выпуска, нумерованные, вышли в 2001 и 2012 годах, «Традиции и современность» и «Памяти учителей — Л. Р. Зиндера, Т. В. Строевой, Г. Н. Эйхбаум» соответственно.

В данный выпуск вошли статьи по актуальной проблеме современной лингвистики — изучению антропоцентрических свойств разноформатных единиц, принадлежащих разным сторонам языка, и выявлению антропоориентированных моделей построения отдельных типов дискурса как в современных немецкоговорящих сообществах, так и в исторически отдаленные эпохи существования немецкого языка.

Издание рассчитано в первую очередь на филологов-германистов, но может представлять интерес и для лингвистов широкого профиля, интересующихся вопросами антропоцентризма в естественных языках.

ББК 81.2Нем

© Авторы статей, 2013

© Санкт-Петербургский
государственный
университет, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редактора.</i> В многовекторном пространстве современной антропоцентрической лингвистики	4
--	---

Дискуссии по общим вопросам антропоцентризма

<i>Галич Г. Г.</i> Языковые категории в аспекте антропоцентризма	8
<i>Новожилова К. Р.</i> Дискурс в литературной коммуникации	14

Антропоцентрические проекции в различных типах дискурса

<i>Гончарова Е. А.</i> Эгоцентризм и интроспекция как основа композиции и архитектоники художественного текста	29
<i>Филиппов К. А.</i> Личностные параметры немецкого историко-грамматического дискурса XVIII века	41
<i>Бондарко Н. А.</i> Анонимный сборник духовной прозы XV в. из Любека в рукописи Нем. Q. I. 310 Российской национальной библиотеки	53
<i>Ковтунова Е. А.</i> Немецкий анекдот в контексте антропоцентрической парадигмы	82

Языковые средства — антропоцентрические индикаторы субъекта речи

<i>Бирр-Цуркан Л. Ф.</i> Контактостанавливающие средства в шванках Ганса Сакса	91
<i>Вознесенская Ю. В.</i> Речевые средства реализации стратегии манипуляции (на материале немецких парламентских дебатов)	101
<i>Григорьева Л. Н.</i> Средства выражения побудительности в немецких потребительских текстах	110
<i>Дмитриева М. А.</i> Древненемецкие вопросительные предложения как составляющая «аргументативного дискурса» Ноткера	121
<i>Езан И. Е.</i> Роль фактора адресата в политической коммуникации	129
<i>Нефёдов С. Т.</i> Акцентированность позиции говорящего и способы включения в высказывание модальных компонентов	138
<i>Подгорная Л. И.</i> Книжная миниатюра немецкого средневековья	145
<i>Прудывус А. Н.</i> Семантический и словообразовательный аспект ласкательных прозвищ	155
<i>Снежинская Г. В.</i> Вопросы текстологии в работе переводчика (на материале книги Ф. Степуна «Mystische Weltanschauung»)	162

От редактора

В МНОГОВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Научные горизонты лингвистической науки существенно расширились за последние десятилетия. Современная лингвистика всё больше превращается в комплексную, интегративную науку, представители которой используют данные других наук о языке и языковой способности и активно включены в разработку пограничных, смежных с собственно лингвистикой областей: прагмалингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, лингвистики текста и других.

В новейшей теории и практике языковедческих исследований явно доминирует стремление предельно широко учитывать влияние на употребление языка разноплановых экстралингвистических факторов. В этой связи понятно, что научно адекватной и востребованной в современном смысле считается такая теория языка, которая в качестве составных частей содержит грамматическую теорию (фонологию, морфологию, синтаксис), лингвистическую семантику и лингвопрагматику. Сошлюсь в этом плане на две новейшие обобщающие работы по языкознанию, в которых так или иначе через моделирование внутреннего устройства языка заданы границы предмета и задач современной лингвистики, как они видятся в настоящее время большинством исследователей. Это, во-первых, — «Введение в языкознание» И. П. Сусова 2007 года издания, в котором автор выделяет во внутренней структуре языка следующие компоненты: семантический, прагматический, лексический (номинативный), синтаксический, морфологический, фонетико-фонологический [1]. И, во-вторых, это монография «Грамматические модели» Петера Шлобински, профессора Ганноверского университета, в которой указывается на то, что «лингвистически обоснованной в современном смысле является такая теория языка, которая охватывает по меньшей мере грамматическую и семанти-

ческую теории, а при известных условиях и прагматическую теорию» («Eine linguistisch fundierte Sprachtheorie im modernen Sinne ist eine Theorie, die mindestens eine Grammatiktheorie und eine Semantiktheorie, ggf. auch eine Pragmatiktheorie umfasst») [4, S. 15].

Теоретические положения И. П. Сусова и П. Шлобински о том, что следует изучать в языке, косвенным образом указывают на интегративные исследовательские установки, доминирующие в современном языкознании. Такая междисциплинарная методология и, как следствие, обновленное членение предмета лингвистики и формирование соответствующих лингвистических дисциплин отражают сложность той реальности, с которой имеет дело лингвист. К какой бы стороне языка ни обращался языковед, он вынужден учитывать влияние на неё многих других сторон, в том числе и лежащих вне языка.

В реальном бытии все стороны и аспекты языка даны исследователю в нерасчлененном, слитном виде, поэтому лексическое не существует вне грамматического или фонетического, а прагматическое — вне семантического и формально-структурного. Многоаспектность языковых феноменов требует «челночных» процедур анализа и синтеза для представления познаваемого объекта во всей его комплексной сложности. Как справедливо отмечает Г. Н. Эйхбаум, «... аналитическое разложение — обычный этап при рассмотрении сложных объектов, в том числе языка, ведущий через характеризацию компонентов и их взаимоотношений к познанию объекта в его целостности» [2, с. 36]. При этом функциональный потенциал той или иной единицы не является неким механическим сложением её сторон, аспектов и т. д., а есть результат их взаимодействия и взаимовлияния в проекции на коммуникативную ситуацию, дискурсно-текстовый регистр, социокультурный контекст.

В лингвистической науке собраны и хранятся все полученные когда-либо знания об уникальном, чисто человеческом феномене — о языке и о сугубо человеческой способности — речетворческой. В известном смысле можно даже говорить о том, что здесь хранятся знания о самом человеке с точки зрения языка. Мысль об антропонимической и антропоцентрической сущности языка не раз подчеркивалась видными исследователями германистами: К. Бюлером, Х. Бринкманном, Й. Эрбенем, В. Г. Адмони и многими другими. Функция самовыражения человека говорящего (Homo

loquens) стала даже своего рода организующим центром лингвистической концепции известного немецкого исследователя Хеннига Бринкманна. Х. Бринкманн рассматривает язык как неотъемлемый, дополняющий человека функциональный компонент, своего рода «*conditio humana*», который обеспечивает вхождение человека в окружающее жизненное пространство. В этой связи он пишет о том, что «человек обладает языком и через него способностью к экстериоризации во внешний мир, или иначе: человек испытывает потребность к экстериоризации и может осуществить эту потребность через язык» («... der Mensch hat die Sprache und ist dadurch «ergänzungsfähig», oder der Mensch ist «ergänzungsbedürftig» und kann die Ergänzung durch Sprache leisten») [3, S. 31].

В настоящее время в новейшей лингвистической теории, так или иначе втянутой в современную антропоцентрическую коммуникативно-прагматическую и когнитивно-дискурсивную парадигму, наличествуют, по крайней мере, три в разной степени разработанных направления: прагмакоммуникативный синтаксис, когнитивно-семантический и дискурсно-текстовый.

Языковые формы в единстве их структуры, значения и функции открывают для лингвиста уникальные возможности проникновения в механизмы речетворчества автора высказывания: в систему его знаний и мнений, мотивационную основу волевых устремлений и эмоциональных переживаний. Язык как порождение и проявление сугубо человеческой способности всегда соотнесен с человеком, а в конкретных речевых высказываниях формируется образ говорящего и общающегося человека.

Существует целый арсенал разноплановых и разноформатных языковых средств, значение и функции которых становятся понятными и формулируемыми только в их соотнесенности с автором высказывания. К таким антропоцентрически ориентированным языковым феноменам относится, как известно, целый ряд коммуникативных классов слов (местоименные, артиклевые, модальные, отрицательные и т. д.), коммуникативно-грамматических категорий (времени, лица, наклонения и др.), контекстно и ситуативно обусловленных модификаций основных моделей синтаксических структур (эллиптические, эмфатические, обособленные и т. п.). Рассмотрению антропоцентрически ориентированных категорий языка и разноплановых средств их воплощения в реальном

текстовом бытии и посвящены статьи настоящего сборника, продолжающего кафедральную серию «Немецкая филология в Санкт-Петербургском университете».

Литература

1. *Сусов И. П.* Введение в языкознание. М.: АСТ: Восток — Запад, 2007.
2. *Эйхбаум Г. Н.* О так называемом сопротивлении лексики грамматике // Языковые единицы в речевой коммуникации: межвуз. сб. / отв. ред. Г. Н. Эйхбаум и В. А. Михайлов. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991.
3. *Brinkmann H.* Sprache als Teilhabe. Düsseldorf: Pädag. Verlag Schwann, 1981.
4. *Schlobinski P.* Grammatikmodelle. Positionen und Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003.

С. Т. Нефёдов

Г. Г. Галич

ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ В АСПЕКТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА

Антропоцентризм понимается в данной статье как принцип рассмотрения языковых явлений, порождаемых и используемых в вербальном общении языковых личностей — носителей языка, а также в некотором социуме. Утверждение об антропоцентризме как всеобъемлющем свойстве языковых знаков, о том, что «все в языке антропоцентрично», представляется справедливым лишь постольку, поскольку это «все» направлено на обслуживание сферы человеческого общения. Что касается языка-системы, антропоцентрические свойства целого ряда его категорий (например, фонологических или словоизменительных реляционных) не столь очевидны и требуют особого рассмотрения в аспекте эксплицитных оснований. Другие категории, в частности, многие содержательные (контенсивные), могут быть отнесены к сфере эксплицитного антропоцентризма и обнаруживают в своем речевом/текстовом представлении явные его экспоненты. В любом случае, антропоцентризм едва ли может быть квалифицирован как языковая категория, он есть именно принцип.

Обращение к понятию языковой категории как комплексному языковому феномену обусловлено изменением взглядов на природу, инвентарь и статус категорий языка (здесь и далее речь идет о категориях языка-объекта, отличных от категорий лингвистического описания) в связи со смещением фокуса внимания в языкознании в сторону функций языка. В этом плане показательны работы последних лет, посвященные некоторым отдельным категориям [4, с. 45–65] или системам языковых категорий в аспектах когнитивного [2, с. 5–22] или коммуникативного [6, с. 240–241] функционализма. Естественно, что функции средства познания и общения дифференцируются в научном описании языка, в языковой реальности; они неразрывно слиты в едином речемыслительном процес-

се. Представляется, что категориальное наполнение этого процесса все еще нуждается в специальном изучении. Соответственно, задачей данной статьи является постановка вопроса о продуктивности использования понятия категории с его системообразующим потенциалом в функциональном, антропоцентрическом описании языка, а также, частично, вопросов о типологии языковых категорий и их экспонировании.

Методологическое понятие категории в силу своей объективной комплексности и вхождения в понятийный аппарат многих наук представляет значительную сложность для определения. Соответственно, оно подвергается весьма различной интерпретации, часто зависящей от характера подводимых под категорию объектов. Для лингвистики существенно принятое в философии рассмотрение категорий как наиболее общих форм познания, для антропоцентрической лингвистики — как форм человеческого представления действительности. С таким толкованием согласуется словарное определение языковой категории — в широком смысле — как любой группы языковых элементов, выделяемой на основании какого-либо общего свойства, в строгом смысле — как некоторого признака, параметра [3, с.215–216]. Принцип организации категории — «разбиение обширной совокупности однородных единиц на ограниченное число непересекающихся классов» [3, с.216] — может быть представлен также посредством обратного категоризирующего действия — объединения единиц в классы на основе присущего им общего свойства, общего признака или набора признаков. Какое направление преобладает в естественно-языковой, человеческой категоризации бытия — вопрос когнитивной психологии. Для определения языковых категорий важно, что они так или иначе соотносятся с «обширными совокупностями однородных единиц».

В аспекте антропоцентризма, как уже отмечалось выше, существенно разделение языковых категорий на формально-структурные и содержательные. Формально-структурные могут быть рассмотрены в этом плане как имеющие статус стереотипов, нормирующих речевую деятельность коммуникантов. Содержательные, объединяющие двусторонние единицы языка с учетом их семантико-когнитивных и коммуникативно-прагматических функций имеют более сложную структуру и не включены пока еще

в строго организованную типологию по функциональному принципу. Здесь можно увидеть обширное поле для исследований.

В имеющихся работах коммуникативно-прагматические и семантико-когнитивные категории обычно рассматриваются дифференцированно, хотя в языковой действительности некоторые категории (особенно понятийные) могут быть рассмотрены в обоих ракурсах.

Категории коммуникативного языкознания или категории прагмалингвистики систематизирует В.И. Карасик. К ним он относит категории «участники общения» (статусно-ролевые и ситуативно-коммуникативные характеристики и пр.), «условия общения» (пре-суппозиции, сфера общения, хронотоп и т. п.), «организация общения» (мотивы, цели, стратегии, членение и т. п.), «способы общения» (канал и режим, стиль и жанр и т. п.) [6, с. 240]. Антропоцентрические моменты присутствуют в той или иной мере во всех выделенных категориях и могут быть показаны посредством соответствующих экспонентов, как и в рассмотренных автором категориях дискурса, особенно — «содержательных» («семантико-прагматических»: адресативности, образе автора, интерпретируемости и т. п.) [6, с. 240–250]. Как одну из составляющих предлагаемой концепции В. И. Карасик упоминает степень значимости выделяемых коммуникативных ситуаций и фрагментов мира для индивидуума, группы и этноса [6, с. 6]. В работе он акцентирует ценностные приоритеты категоризации [6, с. 140–142], т. е. исследует категорию ценности, не останавливаясь на процессе «значимого выделения» или, точнее, выделения значимого в универсуме бытия, т. е. в онтологической специфике выделяемого как значимое, о чем будет сказано ниже.

Как семантико-когнитивные могут быть рассмотрены собственно содержательные грамматические категории, «отражающие отношения действительности, не заданные именно данным коммуникативным актом» (число и т. п.), т. е. диктальные [7, с. 26–32]. Комплексное когнитивно-прагматическое содержание может быть приписано коммуникативно-грамматическим, модусным, интерпретирующим категориям.

Наиболее сложную структуру и способ организации имеют понятийные категории или функциональные поля. В их составе отчетливо различаются два типа категорий: онтологические, строящиеся на основе различий объектов категоризации, классифицирующие

(предметность, признаковость, темпоральность, квантитативность и т. п.), с одной стороны, и — по отношению к антропоцентрической лингвистике — парадигмальные, или операциональные, отражающие способ категоризации, модифицирующие или «модусные» [2, с. 5–22], интерпретационные, формирующие «референцию говорящего» [1, с. 340] — с другой.

Последние заслуживают наибольшего внимания как высвечивающие на базе фактов языкового/речевого общения механизмы человеческого познания. В аспекте когнитивной функции языка парадигмальные категории (на уровне постановки проблемы) представлены в одной из последних работ автора этих строк [5, с. 194–208]. Дальнейшее осмысление побуждает рассматривать их как комплексные когнитивно-прагматические, возможно — контенсивные, интегрирующие семантико-когнитивное и прагматическое содержание, причем не только коммуникативно-прагматическое, но и предметно- или деятельностно-прагматическое, формируемое значимостью выделяемых, категоризируемых и вербализуемых фрагментов бытия для индивидуального или группового субъекта познания и речи.

В качестве подобных категорий можно представить характер или стратегию познания, экспонируемые в высказываниях знания/мнения, дескрипции/оценки и т. п., а также тесно с ними связанную категорию значимости–для–субъекта. Экспонирование таких категорий может быть прослежено в синтаксисе в субъектно-предикатных, субъектно-предикатно-объектных и различных более сложных структурах, в которых в роли предикатов выступают глаголы познавательной и речевой деятельности и их производные, в том числе — в высказываниях с эксплицитными модусами знания, мнения, полагания, оценки и т. д.

Значимостно мотивированное различие по характеру познания зафиксировано, например, в количественных оценках типа «много/мало», «далеко/близко» и т. п., образующих в составе онтологической категории квантитативности парадигмальную (или операциональную) оппозицию точному по интенции выражению величин: «Zweimal — das ist viel» (F. Fühmann: 64); «Weit — das ist kein Begriff in diesem Krieg. Es werden hundert Kilometer sein» (Böll: 20).

Экспликация характера познания в сфере категории количественной оценки осуществляется в высказываниях типа: «Ihre Na-

deln ... Die Länge schätze ich auf etwa vierzig Zentimeter... Harry wird sie nachmessen» (Radtke: 124).

Здесь приведены две эксплицитные (субъект — предикат — объект) структуры категории «стратегия познания». Названы оценочное (schätze) и точное квантифицирующее (nachmessen) познавательные действия двух субъектов. Прагматический мотив, ведущий к появлению в общении подобного контекста максимального противопоставления, кроется в высокой значимости сообщаемой величины для практической деятельности субъектов-персонажей: сотрудников полиции, которые ищут орудие убийства и оценивают в этом плане размер вязальных спиц (в более широком вербальном контексте — lang genug).

Экспликация деятельности субъекта познания количества зарегистрирована не только в высказываниях с предикатами точной квантификации (zählen, messen, errechnen и т.п.) и количественной оценки (abschätzen, taxieren, veranschlagen и т.п.) [5, с. 18–58], но и в структурах с целым рядом предикатов, которые способны служить экспонентами многих других видов квалификации, оценки, мнения, полагания, точного и приблизительного знания. Эти структуры могут быть исследованы далее как вербальные показатели категорий речемыслительной деятельности говорящих. Речь идет о синтаксических построениях с эксплицитным субъектом познания и речи и глаголом либо его субстантивным и иным производным (ich schätze — meiner Schätzung nach — unschätzbar и т.п.) следующих лексико-семантических групп (для обозримости приводятся только глаголы):

- оценки в широком смысле (schätzen, einschätzen, werten, bewerten и т.п.);
- знания и интуитивного представления (kennen, wissen, denken, ahnen, einsehen и т.п.);
- мнения, полагания (meinen, glauben, finden, halten für и т.п.);
- восприятия (sehen, hören, betrachten, beobachten, fühlen, spüren, empfinden и т.п.);
- памяти, запоминания и извлечения из памяти (merken, entdecken, sich erinnern и т.п.);
- манифестации (эта группа отличается от всех предыдущих как бы пассивной ролью познающего субъекта, его перемещением в сферу действия семантико-синтаксической катего-

рии экспериенцера: *Mir schien es...; Es wirkte auf mich...* и т. п. Это прежде всего глаголы *scheinen, erscheinen, wirken, auffallen, vorkommen* и т. п.).

В традиционном системно-структурном понимании намечаемые категории могут быть квалифицированы как лексико-синтаксические. По семантико-прагматическим функциям, включающим указания на когнитивную и коммуникативную деятельность говорящих, они могут быть охарактеризованы как интегративные контенсивные или когнитивно-прагматические категории языка. Приведенный список номинантов стратегий познания и оценки носит не окончательный характер (ср., например, глагол *bezeichnen*: *Sie bezeichnete das als wichtig*). Бесспорной представляется необходимость дальнейших исследований в намеченном направлении.

Литература

1. *Арутюнова Н. Д.* Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь / глав. ред. В. Н. Ярцева. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1990.
2. *Болдырев Н. Н.* Языковые категории как формат знания // Вопросы когнитивной лингвистики. № 2. Тамбов: Изд-во общеросс. обществ. оргции «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов», 2006.
3. *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Категории // Лингвистический энциклопедический словарь / глав. ред. В. Н. Ярцева. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1990.
4. *Верхотурова Т. Л.* Метакатегория «наблюдатель» в научной картине мира // *Studia Linguistica Cognitiva*. Вып. 1: Язык и познание. М.: Гнозис, 2006.
5. *Галич Г. Г.* Когнитивные стратегии и языковые структуры. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2011.
6. *Карасик В. И.* Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004.
7. *Эйхбаум Г. Н.* Теоретическая грамматика немецкого языка. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1996.

Источники примеров

- Böll H.* *Wo warst du, Adam?* Leipzig, 1973.
Fühmann F. *Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens.* Leipzig, 1980.
Radtke G. *Ich werde töten.* Rudolfstadt, 1988.

ДИСКУРС В ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Внутри таксономической научной парадигмы, доминирующей в первой половине XX в., в изучении языка и литературы стали формироваться новые приоритетные методы, принципы и цели. Меняется сам подход к объекту научного наблюдения — будь то язык или литературное произведение, которые прежде рассматривались как завершённая статическая данность, подлежащая таксономическому описанию. Вместо этого в 70-е годы XX в. в лингвистике и литературоведении выдвигаются новые, динамические объекты изучения — речевая деятельность и генерирующий коллективные и индивидуальные смыслы литературный текст.

Динамический подход к явлениям языка, а затем и литературы осуществлялся на коммуникативных основаниях, т. е. в связи с ситуацией коммуникации, в которой отправитель, наделённый различными социальными и индивидуальными качествами, сообщает посредством высказывания/текста свои намерения, мысли, чувства получателю — личности, восприятие которой также зависит от различных обстоятельств. На передний план филологических задач выходят исследования человеческого фактора, отражённого в высказывании/тексте и детерминированного множеством характеристик. Так, в филологических дисциплинах устанавливается принцип антропоцентризма, который поставил в центр внимания человека — говорящую личность — *homo loquens*. Принцип антропоцентризма характеризует новую парадигму гуманитарных наук вообще и создаёт предпосылки для междисциплинарных связей с целью использования знаний, поставляемых смежными науками. Филология также, выйдя за пределы имманентного изучения языка и литературы, обращается к пограничным областям знания и, прежде всего, к социологии, психологии, этнографии, культурологии. А социология, психология, история и другие гуманитарные науки, со своей стороны, обращаются к лингвистическим категориям языка и текста, которые фиксируют различные виды общественных практик, осуществляемых познающим мир человеком.

В постструктуралистской научной парадигме наряду с понятием *текст* стал разрабатываться новый термин — *дискурс* (частично конкурирующий с понятием текста), акцентирующий коммуника-

тивный ракурс исследования. Этот термин используется не только в языкознании и литературоведении, но и в других дисциплинах гуманитарного знания, таких как социология, психология, история, философия и пр. В языкознании его употребляют, начиная с 60-х годов XX в., и с тех пор он используется многими учёными. В литературоведении этот термин также имеет хождение в связи с исследованием художественного текста как основного элемента литературной коммуникации.

Лингвистический анализ литературного текста является областью исследования, в которой лингвистическая методология применяется к изучению того, как передаются и воспринимаются художественные смыслы. Поэтому понятие дискурса здесь имеет свою специфику, которая отражает одновременно и языковой, и художественно-литературный характер изучаемого объекта. Выяснению этой специфики, которая образуется при сближении обеих филологических дисциплин — лингвистики и литературоведения, что также является знаменем времени, и посвящена настоящая статья.

Для того чтобы признать понятие дискурса релевантным при обращении к литературной коммуникации и оперировать им не механически, а осознанно, следует рассмотреть основные значения этого термина, которые сформировались в лингвистике и пограничных гуманитарных науках.

Термин *дискурс*, принятый как обозначение одного из центральных понятий новой научной парадигмы, имеет много толкований. В лингвистике наиболее распространённое понятие дискурса сопоставимо с понятием текста как «первичной данностью, непосредственной действительностью мысли и переживания, из которой только и могут исходить гуманитарные дисциплины» [2, с. 306]. Обозначая речевое образование терминами либо *текст*, либо *дискурс*, учёные прежде всего имеют в виду подход к объекту исследования — соответственно, либо преимущественно со стороны его внутрисистемных связей, либо со стороны его связей с элементами других систем — «прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами» [1, с. 136]. Это значение термина дискурс образно формулируется «как текст, погружённый в жизнь». Принципиальным для такого понимания дискурса является то, что он рассматривается как коммуникативное событие

(Т. Ван Дейк), которое включает и сам текст, и экстралингвистические параметры (мнения, намерения, знание о мире и т. д.), влияющие на создание и понимание текста.

Кроме письменного текста, который возникает в процессе речемыслительной деятельности субъекта, к понятию дискурса относят также устную диалогическую форму. Использование термина дискурс применительно к диалогу преобладало в языкознании Германии. Однако, по словам М. Л. Макарова, сегодня в лингвистической литературе всё чаще понятие дискурса употребляется в качестве родовой категории по отношению к понятиям *речь, текст, диалог*, что снимает ограниченность признаками *монологический / диалогический, устный / письменный* [6, с. 90]. Так что принципиальным для лингвокоммуникативного понимания дискурса оказываются не столько те или иные формы языковой действительности, сколько их обусловленность прагматическими, социальными и психологическими обстоятельствами, т. е. включённость как в узкий — коммуникативно-прагматический, так и в широкий — социокультурный контексты. Текст или диалог являются при этом формами языковой фиксации дискурса и его вербальными представителями.

В той же мере, в какой понятие дискурса оказывается не ограниченными формами языковой действительности, оно не ограничено также и объёмом этих форм. Так, согласно мнению различных учёных, в качестве дискурсивных образований могут выступать не только целые тексты, но и фрагменты текста, превосходящие предложение [5, с. 227]), а также совокупность текстов, объединённых на основании их тематической соотнесённости [11, с. 144].

Изучение дискурсов, представленных совокупностью текстов, образует отдельное направление лингводискурсивных исследований. Естественно, что выбор более крупного объекта изучения — совокупности текстов предполагает обращение и к более широкому коммуникативному контексту, который обуславливает выделение определённого текстового корпуса, относящегося к единому дискурсу. Таким расширенным коммуникативным контекстом являются социокультурная ситуация и образующие её институты культуры, науки, политики, общественных отношений и пр. Эти институты организуют разнообразные виды и формы человеческой деятельности, составляющей частью которых является

специфическая в каждой области человеческой практики ментальная деятельность — совокупность тем, идей, ценностей, правил, привычек, принятых в соответствующей социокультурной ситуации. Дискурс, рассмотренный таким образом, включает в себя две стороны: внешнюю по отношению к человеку — социокультурную и внутреннюю — ментальную, которые находят своё отображение в языке. Если в узком когнитивно-прагматическом аспекте, о котором говорилось вначале, дискурс образно определяется как «текст, погружённый в жизнь», то в социокультурном аспекте его можно так же образно назвать жизнью, отображённой в текстах.

Именно дискурс, взятый в социокультурном аспекте, представляет собой междисциплинарный объект исследования, на котором сосредоточены интересы различных наук. В зависимости от того, с каких исходных позиций — социокультурных или лингвистических — рассматривается основное понятие, в центре внимания оказываются, соответственно, либо области и виды речемыслительной деятельности человека (дискурсивные практики), либо речевое пространство (совокупность текстов), соотносимое со специальными областями и видами дискурсивных практик.

Рассматривая социокультурный дискурс с лингвистической точки зрения, учёные говорят о нём, с одной стороны, как о *специальном языке*, который используется в различных областях и ситуациях коллективной языковой практики, а с другой стороны, как о *совокупности текстов*, представляющих ту или иную дискурсивную формацию, т.е. как о речевой деятельности. Таким образом, соотношение обоих взглядов на лингвистику дискурса соответствует традиционному противопоставлению языка и речи как двух сторон единого феномена — идеальной и реальной.

Выбор текстового корпуса, представляющего дискурс, ориентируется на разные элементы внешней — социокультурной или внутренней — ментальной ситуации. Так, выделяются дискурсы, представленные определёнными группами текстов в соответствии со сферами общения (административный, научный, бытовой), с общественными институтами и областями знания (юридический, военный, медицинский, политический дискурсы), с идеологической направленностью (социалистический, эсхатологический дискурс), с социально-психологическими характеристиками (гендерный, молодёжный), с индивидуальной ментальностью (дискурс

Брехта, дискурс царя Эдипа), а также виды дискурсов, выделяемых на основе других экстралингвистических характеристик. «В зависимости от целей познания и научной систематизации, — говорит В. Е. Чернявская, — границы дискурса могут устанавливаться по-разному, относительно некоторого периода времени, сферы человеческой практики, области знания, типологии текстов и других параметров» [10, с. 26].

Обобщая сказанное по поводу понятия дискурса как лингвистической категории, ещё раз отметим, что оно отталкивается естественным образом от языковой манифестации, формы и объёма которой выбираются в соответствии с целями исследования. При этом в центр внимания лингвистов попадают такие закономерности выбора языковых элементов и способов их сочетания, которые обусловлены конкретной прагматической ситуацией и/или широким социокультурным контекстом. Что касается объёма языковой структуры, которую рассматривают в дискурсивном аспекте, то она может быть представлена текстом (1), его фрагментом (2), а также совокупностью текстов (3). При этом дискурс (1), и дискурс (2) рассматриваются как тип речи, детерминированный прежде всего узкой — коммуникативно-прагматической — ситуацией (здесь и сейчас), а также широкой ситуацией — объективными и субъективными факторами, характеризующими данную языковую личность вообще. Дискурс (3), образованный совокупностью текстов, является языковым представлением определённой ментальности, которая соответствует той или иной широкой — социокультурной — ситуации. При рассмотрении дискурса (3) с лингвокоммуникативных позиций принципиальными являются как лингвистический, так и экстралингвистический критерии. Это значит, что важно иметь в виду как общие лингвистические характеристики — «особый язык», так и те экстралингвистические характеристики, которые стоят за лингвистикой дискурса. К этим характеристикам будем относить: 1) общую семантику (т. е. тематические признаки, находящие эксплицитное или имплицитное выражение в языке, и/или структурно-семантические признаки), а также 2) общие социокультурные и когнитивно-психологические параметры, которые обусловили общую семантику. Наличие обоих критериев можно считать необходимым и достаточным условием для определения текстового корпуса дискурса и его лингвокоммуникативной харак-

теристики. Эти критерии особенно важны для понимания статуса дискурса в литературной коммуникации, по отношению к которой также разрабатывается это понятие.

Дискурс в литературной коммуникации

Взаимодействие взглядов литературоведов и лингвистов на этот вопрос с учётом социологических концепций даёт картину использования термина дискурс в трёх его основных значениях, которые были рассмотрены выше. Учёные называют дискурсом литературный текст, рассмотренный в качестве коммуникативного события, обусловленного объективными и субъективными обстоятельствами его создания и восприятия; фрагмент текста, принадлежащий разным языковым личностям (повествователю, персонажам), а также совокупность текстов, корпус которых определяется по разным общим для них признакам. Рассмотрим поочерёдно три вида содержания, которые связаны с понятием литературного дискурса — дискурс как текст (I), дискурс как фрагмент текста (II) и дискурс как совокупность текстов (III).

I. Дискурс как текст. Литературный текст рассматривается в коммуникативном аспекте на тех же основаниях, что и речевые произведения других, нелитературных областей коммуникации. Однако литературный дискурс, включающий акты создания и восприятия текста, отличается особой сложностью и детерминирован как со стороны производителя, так и со стороны получателя текста разнообразнейшими факторами. Обозначим самые важные из них.

Литературный дискурс, реализуемый посредством текста, характеризуется *«абсолютным антропоцентризмом»* [3, с. 4]. В соответствии с современной теорией, литературная коммуникация происходит не на одном уровне общения между отправителем и получателем, а на нескольких иерархически соотносящихся друг с другом уровнях, на которых действуют разные антропоморфные инстанции коммуникантов: реальные автор и читатель, абстрактные (идеальные) автор и читатель, нарратор и персонаж, персонаж и персонаж. Антропоцентризм литературного текста проявляется как зависимость его содержательных и формальных элементов от активных языковых личностей, к которым относятся абстрактный автор (заклѳчѳнный в художественном тексте об-

раз его создателя), повествователь и персонаж в роли отправителя высказывания, а также от пассивных языковых личностей — абстрактного читателя и персонажа в роли получателя, на которых ориентируется литературное высказывание.

Референт художественного текста заключает в себе *фикциональный мир* как один из возможных миров, но он основывается на представлениях и понятиях о мире реальном. По отношению к литературному тексту реальный мир является той внетекстовой действительностью, которая формирует картину мира автора и с которой, таким образом, текст опосредованно соотносится, более того, вне соотношения с которой он невозможен.

Фикциональный мир художественного текста имеет *образную природу*, т. е. он находит своё воплощение в виде эстетически организованных образов, оформленных вербально. Основа этих образов — предметы и явления реального мира, а также и прежде всего человек со всеми атрибутами его психической, физической и общественной деятельности. Отображая психическую сторону личности, функционирование её сознания и подсознания, образная система художественного произведения запечатлевает также речемыслительную деятельность человека в различных областях и ситуациях жизни и свойственную этим областям и ситуациям ментальность. Это значит, что в тексте актуализированы непосредственно через языковые употребления (в виде эксплицитных или имплицитных смыслов) типические и узнаваемые для читателя социально-исторические и психологические формы человеческого сознания, а также индивидуальные дискурсивные практики.

Литературный текст относится к так называемым *мягким текстам*, т. е. заключённые в нём смыслы, касающиеся как фикционального мира, так и стоящего за ним мира реального, не сформулированы эксплицитно, а сопутствуют эксплицитным формулировкам благодаря разнообразным знаниям о мире, которыми руководствуется автор художественного сообщения. Поэтому при анализе художественного текста языковой критерий, определяющий тот или иной вид дискурсивных практик (будь то коллективный или индивидуальный опыт) должен учитывать когнитивные предпосылки и стратегии образования текстовых смыслов, т. е. анализ поверхностной структуры текста, должен сопровождаться макро- и глубинно-семантическим анализом. Для литературного

текста в максимальной степени характерно то, что В. Е. Чернявская говорит о дискурсивной семантике вообще: «В фокусе дискурсивной семантики оказывается не столько лексическое значение употреблённых в дискурсе единиц, их узко-контекстуальное значение, сколько совокупность импликаций, интертекстуальных и интрадискурсивных отношений» [11, с. 169–170].

II. Дискурс как фрагмент текста. Художественные тексты, рассмотренные с точки зрения реализации дискурсивных практик, относятся к разным ментальным формациям, различающимся в культурно-историческом, национальном, идеологическом, эстетическом и прочих отношении, к которым принадлежат их авторы. Кроме того, в этих текстах изображены представители различных ментальных формаций — повествователи и персонажи. Поэтому для литературных текстов (речь идёт о нарративах) характерно сочетание, а иногда и переплетение индивидуальных дискурсов активных языковых личностей, принимающих участие в формировании литературного текста — автора, повествователя, персонажей. Индивидуальный дискурс каждой из перечисленных категорий литературного текста несёт в себе отпечаток интеллектуальных, этических, эмоциональных особенностей личности, проявляемых в коммуникации (личностные факторы), а также след освоенных ею общепринятых социально-исторических представлений, понятий, норм и вкусов (коллективные факторы).

Если рассматривать индивидуальный дискурс абстрактного автора, то нужно обратиться к условиям создания текста и определить художественный замысел автора или его коммуникативную установку, от которой зависят стратегии разворачивания художественного высказывания. В лингво-коммуникативном плане авторские стратегии направлены на создание речевых образов повествователя и персонажей, т. е. на то, чтобы сконструировать коммуникативные акты этих фикциональных инстанций и их эстетически претворить, что означает «найти» для воплощения художественных образов адекватный «образ языка» (в том смысле, в котором его понимал М. М. Бахтин).

В свою очередь, на формирование художественного замысла текста влияют историко-политические, социальные, идеологические, общекультурные и внутрилитературные (художественные школы и направления, литературная полемика) условия жизни писателя,

а также обстоятельства его биографии и особенности его творческой личности. Эти формирующие замысел текста обстоятельства, находят своё отражение в тексте нарративной тематикой, идейным наполнением и эмоциональным тоном повествования, что выявляется как на содержательном уровне текста, так и в языковой манифестации этих категорий. Таким образом, при осуществлении авторских стратегий сказываются (в том числе и в их языковом выражении) дискурсивные практики писателя — как коллективные, так и личностные.

Что касается индивидуальных дискурсов повествователя и персонажей, то их можно рассматривать как порождение самостоятельных языковых личностей, абстрагируясь от их фикциональной и эстетической природы и зависимости от творческой воли автора. Более того, если учесть обобщающий и типизирующий характер антропоморфных литературных образов, в том числе и их речевых партий, то можно наблюдать их речевую типизацию, т.е. принадлежность к узнаваемым дискурсам, закреплённым в определённом национальном и историко-культурном пространстве. На возможность изучать модель языковой личности, ориентируясь на образ персонажа литературного текста, первым обратил внимание Ю. Н. Караулов.

Так же как на формирование художественного замысла текста влияют коллективно и личностно обусловленные факторы, так и на процесс рецепции воздействуют историческая и социокультурная среда читателя, а также ментальные, эмоциональные и психические свойства его личности.

Если задаться вопросом о том, как влияет дискурсивный подход к литературному тексту на его лингвистический анализ, то можно увидеть, что он позволяет системно взглянуть на такой сложный объект, каковым является литературный текст. При дискурсивной исследовательской стратегии литературный текст предстаёт как процесс и результат сложной системы коммуникации, в которой становится очевидной зависимость языкового оформления текста от антропоморфных уровней этой системы и типов дискурсивных практик языковых личностей, находящихся на этих уровнях. Анализ литературного текста как дискурса показывает, что текст реализует речевые стратегии разных языковых личностей, которые должны быть рассмотрены поэтапно.

Во-первых, следует определить речевые стратегии абстрактного автора — главной языковой инстанции художественного текста. Посредством его речевых стратегий реализуется замысел литературного высказывания и свойства этого высказывания как эстетического объекта (в частности, превращение *истории* как элемента замысла в художественный образ — литературный *нарратив*).

Однако абстрактный автор не является абсолютно самостоятельным дискурсивным субъектом. Он зависит от личности биографического писателя и его дискурсивного опыта, который хотя и существует независимо от сочиняемого текста, тем не менее, оставляет свой след в нём. Поэтому следующая задача исследователя состоит в том, чтобы обнаружить этот след, не всегда различимый для простого читателя, и определить его вербальные сигналы.

Третьим этапом лингвистического анализа литературного дискурса является индивидуальный дискурс повествователя, который, как известно, либо совпадает с языковой личностью абстрактного автора, либо в большей или меньшей степени отличается от неё.

Наконец, на последнем этапе анализа встаёт вопрос об индивидуальном дискурсе персонажей и их диалогических стратегиях и тактиках. На каждом этапе анализа нужно учитывать коллективно (социально) и лично обусловленные особенности индивидуального дискурса.

Говоря о социально обусловленной стороне индивидуального дискурса, мы упираемся в вопрос об интердискурсивности художественного текста, которая обнаруживается при дискурсивном подходе к нему и которая является его принципиальным типологическим свойством. Об интердискурсивности как типологическом свойстве литературного высказывания и особом проявлении этого свойства в нём речь пойдёт ниже в связи с другим значением термина дискурс, подразумевающим совокупность текстов.

III. Дискурс как совокупность текстов. Вопрос о возможности рассматривать в качестве дискурса совокупность литературных текстов имеет по крайней мере две стороны.

Во-первых, дискурсом литературоведы называют группы литературных текстов, отобранных на основании тех или иных общих критериев. Так, Цветан Тодоров, который рассматривает специфику дискурса в литературе, утверждает, что «каждый тип дискурса определяется набором правил, применения которых он требует»

[9, с. 367]. Это утверждение он иллюстрирует таким типом дискурса как сонет, относя, таким образом, к дискурсивной типологии жанровую классификацию, т. е. имея в виду жанровую связь текстов, которую Жерар Женетт называл архитектуральностью. Можно представить себе и другие типы литературных дискурсов, выделенных на основании специальных правил, которым они следуют, например, «мотивно-образный дискурс символизма», приведённый в статье Ю. Руднева [8, с. 6], или дискурс романтизма, предполагающий в корпусе текстов определённую идейно-тематическую специфику и её языковое оформление, или дискурсы индивидуального творчества различных писателей. Однако каждый из названных типов дискурсов, включая и жанровый, совпадает с уже имеющейся номенклатурой стилей и жанров и поэтому не несёт в себе особой новизны. Другое дело, что их необходимо учитывать при анализе отдельного текста на этапе исследования индивидуального дискурса абстрактного автора.

Во-вторых, вопрос о дискурсе ставится применительно ко всей совокупности литературных текстов и формулируется так: существует ли единый литературный (художественный, эстетический) дискурс на том же основании, что и научный, административный и другие виды дискурсов. Этот вопрос стоял и перед функциональной стилистикой. Стиль художественной литературы хотя и назывался в одном ряду с функциональными стилями, но вместе с тем и противопоставлялся всем им в совокупности как вид эстетической коммуникации её практическим видам.

В связи с появлением понятия дискурс этот вопрос поставлен заново. Одни учёные пытаются обосновать существование литературного дискурса как единой области речевых практик. Так, В. И. Тюпа — редактор журнала «Дискурс» — приводит в качестве такого обоснования специфические признаки литературного (в его терминологии «эстетического») дискурса, которые вытекают из главного, по его мнению, признака художественного сообщения — автокоммуникации. Другие учёные, в частности, Цветан Тодоров, возражают точке зрения о том, что существует единый литературный дискурс, на том основании, что художественные тексты в своей массе чрезвычайно неоднородны. Так что «каждый тип дискурса, определяемый обычно как литературный, имеет не-литературных “родственников”, более близких ему, чем какой-либо

иной тип “литературного дискурса”. Так, некоторые типы лирических стихотворений и молитва подчиняются большему количеству общих для них правил, чем то же стихотворение и исторический роман типа “Войны и мира”» [9, с. 368]. Такую же полярность мнений обнаруживают немецкие исследователи литературной коммуникации.

Проблемой «литературности» задавались ещё учёные русской формальной школы и пражского лингвистического кружка, исследования которых привели к утверждению эстетической (поэтической, риторической, игровой) функции языка, которая проявляется в *самоценности* языка, повышенном внимании к выражению. В дальнейшем особенность литературного текста стали объяснять с помощью семиотических принципов, одним из которых является ко-оппуорентность, т. е. параллелизм плана выражения и плана содержания. Этот принцип проявляется в таком отборе языковых средств, когда выражение изоморфно содержанию смыслового образа и, семиотически сливаясь с ним, образует эстетическое единство.

Однако при рассмотрении литературного образа в качестве эстетического знака вступают в силу именно эстетические закономерности, в то время как макросемантические закономерности, которые были бы свойственны всем литературным текстам одновременно, не регистрируются. Поэтому сферу литературной коммуникации можно было бы считать самостоятельным дискурсом именно в общесемиотическом плане, т. е. в том смысле, что существует социальный институт искусства, который пользуется не только словесным языком, но и другими знаковыми системами. Тогда литература как словесное искусство будет его институциональным подвидом наряду с несловесными подвидами искусства, где также действуют общеэстетические закономерности.

Если же полагаться не только на семиотический и социокультурный, но и на внутритекстовый (семантический) критерий, на котором прежде всего и сосредоточивается внимание коммуникативной лингвистики, то нужно признать, что литературные тексты во всей своей совокупности не образуют отдельного дискурса. Не имея структурной и/или тематической общности, они не могут быть поставлены в один ряд с группами практических текстов, объединяемыми в специальные дискурсы как по социокультурному, так и по внутритекстовому критериям.

Хотя с лингвокоммуникативной точки зрения единого литературного дискурса и не существует, тем не менее, имеют место, как уже указывалось, специальные литературные дискурсы, объединённые на общих семантических основаниях (жанровых, тематических, стилистических и пр.). Кроме того, существует очевидная взаимосвязь между литературным текстом и различными видами практических дискурсов. С одной стороны, литературный текст может входить в единый дискурс со своими «нелитературными родственниками» (Тодоров) — например, биографический, эпистолярный дискурсы, а с другой, в литературном тексте присутствуют элементы практических (обыденных) дискурсов — например, музыковедческий дискурс в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна или военный дискурс в творчестве Генриха Бёлля и Гюнтера Грасса. Более того, интердискурсивность, понимаемая как переключка дискурсов (не текстов!), признаётся онтологическим свойством литературных текстов. На это свойство обращал внимание ещё в 1983 году один из ведущих представителей дискурсанализа в Германии Юрген Линк. Рассматривая литературу исключительно с социокультурной стороны как осуществление социальных практик, он считал её особым дискурсом на том основании, что литературный дискурс организуется посредством интеграции «чужих» дискурсов [12, с. 48]. Показательным примером интердискурсивности художественной литературы являются тексты романов немецкого барокко, которые изобилуют сведениями по теологии, истории, географии, философии и являются «своеобразными “энциклопедиями” своего времени» [4, с. 133].

Онтологическую интердискурсивность литературных текстов можно объяснить с позиций поэтики, согласно которым художественный мир как один из возможных миров творится по аналогии с миром реальным. Поэтому в литературных текстах запечатлеваются различные виды дискурсивных практик, которые известны из реальной действительности, а также из предшествующего художественного опыта. Они, используя образное выражение М. Пешё [7, с. 90], являются своего рода «заготовками», «сырьём» для нового дискурса, который возникает в результате их выбора, комбинирования и других художественных стратегий автора.

Итак, рассмотрев понятие дискурса применительно к литературной коммуникации, важно подчеркнуть продуктивность взгляда

да на литературный текст с дискурсивных позиций. Этот новый взгляд даёт основание рассматривать литературный текст не только как обособленный речевой феномен, в котором господствует эстетическая функция, но и увидеть в нём явление речевой практики, тесно связанное с реальным миром человека и его вербальным опытом. Что же касается понятия дискурса как категории коммуникативной лингвистики, то оно, как представляется, неприменимо ко всему континууму литературных текстов из-за отсутствия у них структурной и тематической общности и, соответственно, невозможности лингвистического описания этой категории.

Однако этот факт не исключает других подходов к явлению художественной литературы. Так, с общесемиотических позиций художественные тексты образуют институциональный дискурс эстетики наряду с его другими — невербальными подвидами. Что касается литературы исключительно как социокультурного феномена, то его образует совокупность специальных литературных дискурсов, каждый из которых включает семантически родственные тексты. Поэтому по отношению к этим специальным дискурсам весь корпус художественных текстов является метадискурсом, который противопоставлен всей совокупности языковых практик в реальной действительности как метадискурсу социальной жизни человека.

Литература

8. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990.
9. Бахтин М. М. Язык в художественной литературе: собр. соч. в семи томах. Т. 5. М.: Русские словари. 1997.
10. Гончарова Е. А. Категории АВТОР — ПЕРСОНАЖ и их лингвостилистическое выражение в структуре художественного текста: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л. 1989.
11. Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С. История немецкого литературного языка XVI–XVIII вв. М.: Наука, 1984.
12. Карасик В. И. Языковой круг. Личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004.
13. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис. 2003.
14. Пешё М. Прописные истины. Лингвистическая семантика, философия // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / ред. Ю. С. Степанов. М.: Прогресс, 1999. С. 225–290.

15. Руднев Ю. Концепция дискурса как элемента литературоведческого метаязыка. URL: <http://www.zhelty-dom.narod.ru/literature/txt/discjurs jr.htm>.
16. Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 355–369.
17. Чернявская В. Е. Интерпретация научного текста. СПб.: Наука, 2004.
18. Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Кн. дом «Либерком», 2008.
19. Link J. Elementare Literatur und generative Diskursanalyse. München: Fink Verlag, 1983.

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА

Е. А. Гончарова

ЭГОЦЕНТРИЗМ И ИНТРОСПЕКЦИЯ КАК ОСНОВА КОМПОЗИЦИИ И АРХИТЕКТониКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Die Geheimnisse der Dinge verschmelzen in [des Künstlers] Innern mit seinen eigenen tiefsten Empfindungen und werden ihm, so als ob es eigene Sehnsüchte wären, laut. Die reiche Sprache dieser intimen Geständnisse ist die Schönheit.

Rainer Maria Rilke

Развитие лингвистики в наше время отмечено ее все более тесными связями с контекстом культуры и жизни, стремлением понять и объяснить онтологию и функциональные особенности языковых феноменов, и прежде всего таких целостных образований, возникающих и существующих на базе языка, как тексты, с точки зрения «присвоения» их человеком. В истории науки появилось даже специальное обозначение научной области, которая объединяет лингвистические исследования, действующие в логике подобного подхода к изучению единиц и явлений языка, — *антрополоингвистика*. Возникнув вследствие «постепенной и всеохватывающей антропоориентации лингвистических исследований», антрополоингвистика «изучает язык с учетом той доминирующей роли, которая принадлежит порождающему и интерпретирующему его человеку» [10, с. 3–4]. В русле антропоцентрического подхода лежит и вновь становящийся в последние десятилетия все более интенсивным интерес лингвистики к корреляциям между языком, мышлением и внутренним миром человека.

Если согласиться с автономным статусом антрополингистики как области языкознания, предлагающей новые исследовательские методики, хотя, как известно, антропоцентризм все чаще называется среди отличительных парадигмальных черт современного языкознания в целом, то именно к ней следует отнести исследования, посвященные так называемым *эгоцентрическим* языковым и речевым единицам, т. е. словам, словосочетаниям и высказываниям, имеющим в своей семантике эгоцентрические признаки, обусловленные выдвиганием на первый план индивидуального «я» человека и выполняющими функцию не только указания на говорящего, но и выражения его ментально-психических характеристик.

В качестве объекта лингвистических наблюдений *эгоцентризм* может рассматриваться как проявление особого вида *антропоцентризма*, при котором говорящий создает свое высказывание/текст для выражения специфического отношения к миру, сосредоточенного на собственном «Я» говорящего. Иными словами, эгоцентризм связан с антропоцентризмом логическим отношением «частное — общее»: в то время как *антропоцентризм* подразумевает *субъектность* высказывания средствами языка, т. е. его обязательную принадлежность некоему субъекту, *эгоцентризм* предполагает и *субъективность* высказывания, имплицитное присутствие в его семантике и прагматике «точки зрения», существующей в границах определенного индивидуального мировоззрения.

Субъектность как лингвопрагматический параметр высказывания/текста имеет в виду наличие у любого речевого высказывания субъекта, или автора, но при этом она далеко не всегда связана с эксплицитным проявлением в его речевой структуре «авторской позиции», иными словами, индивидуально-лично обусловленной интенциональности создателя текста. Так, например, в текстах средств массовой и деловой коммуникации — даже при персональном обозначении автора высказывания в их композиционно-речевой структуре — последний выступает часто как носитель типизированной социально-культурной роли (журналист-комментатор, диктор радио или телевидения, студент/декан факультета и др.). Осознание говорящим этой роли (например, в таких постулатах: «как журналист я должен давать беспристрастную оценку события», «как студент я должен соответствовать определенным академическим требованиям» и т. д.) осложняет семантику и прагматику

эгоцентрических языковых единиц (личных местоимений, дейктических слов и местоимений, перформативных глаголов, модальных слов и словосочетаний и т. д.) и придает сформулированной языковыми средствами персональной точке зрения конвенциональный характер.

В отличие от этого *субъективность* как семантический и прагматический параметр высказывания/текста всегда связана с экспликацией в его речевой форме индивидуально-личностных интенций и, как правило, логической, этической и/или эмоционально-экспрессивной оценки автором содержащейся в тексте информации. Она всегда предполагает поэтому «расслоение» семантико-прагматической структуры речевого субъекта на 1) «изображающий» речевой субъект, т. е. сообщающий в определенном «модусе формулирования» [4, с. 146–154] информацию о чем-то, и 2) «изображенный» субъект, являющийся наряду с другими компонентами информации (фактами, явлениями, лицами) ее объектом.

Осознание автором текста своих прагматически обусловленных речевых действий в качестве одновременно и субъекта и объекта изображения отмечается, например, в таких текстах обиходно-массовой коммуникации, как автобиография и объявление о знакомстве. Эти два вида текста могут быть отнесены к классу *эгоцентрических текстов*, хотя они и отличаются друг от друга исходной прагматической установкой и степенью проявления в речевой структуре текста индивидуального «я» их автора. Эгоцентрический характер автобиографии заключается лишь в самом отборе регистрируемых в тексте фактов, способах их компоновки и подробностях изложения обстоятельств, которые, на взгляд речевого субъекта, являются определяющими в его индивидуальном развитии. В объявлении о знакомстве эгоцентризм выражен более явно, с одной стороны, совокупностью средств исключительно мелиоративной персональной самооценки и, с другой, через средства установления контакта с адресатами, круг которых в тексте эксплицитно ограничен посредством прямого или косвенного обращения к тем, чьи характеристики отвечают мировоззрению и личным запросам автора объявления. Например: „<...> *suche ich ein geistig-seelisches Zuhause bei einem familienorientierten Mann*“; „*Guten Morgen, Du Schöne! Neugieriger Mann sucht starke Frau*“; „*Widder-Frau*

<...> *sucht lebenslustigen Mann zwischen 40–45 Jahren zum Aufbau einer Partnerschaft*“.

Однако особую роль как фактор текстообразования эгоцентризм играет в литературной коммуникации, поскольку художественное мышление как таковое и процесс его транспозиции в словесно-речевые произведения по своей сути эгоцентричны и интроспективны. В качестве подтверждения этого можно привести высказывания многих ученых-гуманитариев, связанные либо с осмыслением квинтэссенции искусства в целом, либо с определением исходных позиций для понимания и интерпретации литературно-художественных текстов.

Так, уже в конце XIX в., рассматривая отношения между языком и искусством, Д. Н. Овсяннико-Куликовский писал: «Шекспир создал образ Отелло для апперцепции идеи ревности <...>. Шекспир отлично объяснил ревность *сначала самому себе*, а потом уже — всему человечеству (курсив наш. — Е. Г.)» [6, с. 20]. Б. О. Костелянец, рассматривая особенности деятельности писателя как творческого субъекта, отмечал, что «...найти еще никем не найденные и не раскрытые стороны мира — означает для художника слова *найти тем самым и себя* (курсив наш. — Е. Г.)» [5, с. 59]. В. Г. Адмони видел сущность художественной литературы в том, что она, «... как и всякое искусство, направлена на непосредственное чувственно-предметное и понятийно-наглядное постижение действительности и на *раскрытие душевной жизни человека вплоть до ее самых глубинных черт* (курсив наш. — Е. Г.)» [1, с. 116]. Для интерпретации художественного текста с лингвистических позиций особенно важен следующий тезис В. Г. Адмони: «Художественный текст — это возникающее из специфического (эгоцентрического) внутреннего состояния художника душевное чувственно-понятийное постижение мира в форме речевого высказывания» [1, с. 120], на который мы будем опираться в наших дальнейших рассуждениях.

Проявление в литературных текстах «авторского эгоцентризма» признают и сами писатели. Л. С. Выготский упоминает в своей знаменитой книге «Психология искусства» два таких признания Толстого и Гоголя. Вот что писал первый о своем романе «Анна Каренина»: «... если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Оболенский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что

я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится (курсив наш. — Е. Г.)» [3, с. 35]. Гоголь же «утверждал, что он избавлялся от собственных недостатков и дурных влечений, наделяя ими героев и отщепляя таким образом в своих комических персонажах собственные пороки» [3, с. 81].

Говоря об авторском эгоцентризме и интроспективности как онтологических свойствах художественного текста, нельзя не отметить и следующую закономерность, о которой пишет Т. И. Сильман по отношению к лирике, но которая, на наш взгляд, может быть отнесена к любому поэтическому тексту в широком его понимании. Любой поэтический текст «... отражает душевный мир во всей бесконечности конкретных форм его проявления, превращая, однако, каждый частный случай индивидуального переживания в парадигму переживания для любого другого человека» [7, с. 199]. Иначе говоря, словесно-художественная форма литературного текста позволяет читателю в его рецептивном внутреннем «диалоге» с автором произведения (по Бахтину) «разгерметизировать» глубоко субъективные по своей сути психологические феномены поэтического эгоцентризма и интроспекции.

Нельзя забывать, однако, что интерпретация художественного текста, с лингвистических позиций, не может в полном объеме охватить все проблемы выражения в нем эгоцентризма и интроспекции, так как в этом случае отправной точкой наблюдений и анализа являются все же в первую очередь язык и «знаковая реальность» литературного текста. В то же время она служит в качестве одной из важных ступеней в понимании механизмов отражения этих феноменов в плане содержания и выражения текста. Становясь структурными элементами словесно-речевого художественного произведения, языковые единицы и явления функционально как бы «удваиваются»: они принадлежат и системе языка и системе этого произведения, выполняя одновременно и «естественную» языковую функцию и функцию моделирования «фикционального мира» текста. Иерархия языковых единиц как композиционно-архитектонических элементов текста подчинена при этом прежде всего не лингвистическим принципам, а смысловой роли соответ-

ствующего элемента в текстовом целом, задаваемой творческой интенцией автора и распознаваемой (либо не распознаваемой) читателем.

Например, самый низкий, с лингвистической точки зрения, фонетико-артикуляционный уровень может быть непосредственно связан с уровнем эгоцентрического лирического переживания как главного художественного события текста, как это происходит в знаменитом стихотворении Гете „*Wanderers Nachtlied*“, где скопление высоких гласных переднего ряда в первых строках символизирует легкость естественного космического бытия и, сменяясь в конце преобладанием низких гласных заднего ряда (*Warte nur, balde / Ruhest du auch*), рисующих образ «вечного покоя», создает в итоге композиционную антитезу и одновременно с этим синтезированный художественный образ стиха: «человек — природа», «жизнь — смерть»; см. также: [9, с. 37–50]. На примере этого стихотворения можно показать и редкий случай совпадения «автобиографического» с «поэтическим» эгоцентризмом. Есть свидетельство горного инженера Й.-Кр. Мара, что Гете посетил охотничий домик на горе Кикельхан за полгода до своей смерти. Увидев стихотворение, написанное им 6 сентября 1780 г. карандашом на стене домика, поэт заплакал и, вытирая слезы, прочел вслух, как бы обращаясь к себе, именно эти строки [15, S. 95 ff].

Другой классический пример: историки немецкой литературы называют Томаса Манна художником с «ненасытным ироническим темпераментом», мировоззрение которого «до мозга костей» иронично и насквозь пронизано иронической антитезой. Эта фундаментальная авторская позиция, выраженная писателем однажды в риторическом вопросе: „*Die Kunst — ist sie nicht immer eine Kritik des Lebens?*“ [14, S. 46; 229 ff], объясняет постоянно используемые Т. Манном и многократно описанные исследователями его индивидуального стиля лейтмотивные лексико-семантические оппозиции, в которые входят обозначения деталей внешности персонажей. Повторяясь из текста в текст, лексические антитезы (*blond, blondhaarig, hell/-, bast/-blondes Haar, stahl/-blauäugig, stahl/-blaue Augen, breitschultrig, stark — brünett, lichtbraunes Haar, dunkle und zart umschattete Augen, zart, blass u.a.m.*) приобретают эгоцентрический «авторский» смысл, становятся «эстетическими доминантами» (по Якобсону) индивидуальной художественной системы Т. Манна

и создают в совокупности два центральных кумулятивных образа высокой степени абстракции «мир художника — мир обычного человека/обывателя».

Следующая трудность, которая ожидает филологов, интерпретирующих художественный текст на предмет выражения в его композиции и архитектонике эгоцентрического взгляда автора на мир «изнутри» и в интересах собственного «я», — это необходимое в данном случае преодоление скептицизма, возникшего в эпоху постмодернизма по отношению к «правам автора» на созданный им текст. Начиная примерно с 1940-х годов в западных исследованиях литературного текста все более явственно начинает присутствовать тема «недоверия к автору» [11, с. 46], перерастающая во французском постструктурализме в идею полного отрицания авторства под лозунгом «смерти автора», которой «приходится оплачивать рождение читателя». Согласно точке зрения приверженцев идеи «непринадлежности» литературного текста автору с момента его зарождения, автор «исчезает», «умирает» в момент создания текста, а «призрак» его может «явиться» в тексте «уже только на правах гостя» [2, с. 384–391], и «присвоить текст Автору — это значит, как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [2, с. 389].

Традиции русской поэтики, и здесь в первую очередь исследования М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Г. А. Гуковского, В. М. Жирмунского, Б. О. Кормана, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Б. М. Эйхенбаума, не позволяют однозначно согласиться с идеей «похоронить автора» при введении в исследовательскую парадигму литературного текста «читателя» — как равноправной с автором творческой инстанции, обеспечивающей существование «Мира как Текста» и «Текста как Мира» (если прибегнуть здесь к выражениям, используемым в практике постмодернизма). В то же время новые знания о сущности словесного литературного творчества и о закономерностях выражения в структуре литературного текста категориальной природы создавшего его творческого субъекта, накопленные и общей теорией текста, и теорией литературного текста, в особенности такой ее областью, как нарратология, помогают уточнить определенные позиции в «диалектике прав автора и читателя», в том числе и по отношению к эгоцентрическим и интроспективным корням художественного речевого произведения.

Так, нельзя не согласиться с У.Эко, что в любом тексте, рассчитанном на широкую аудиторию или, по В.Г.Адмони, «на длительное существование» и «воспроизводимость» [1, с.120 и др.], отправитель и адресат присутствуют в нем «не как реальные полюсы акта сообщения, но как *актантные роли* этого сообщения» [12, с. 23]. И, что особенно касается художественного текста, автор проявляется в тексте лишь как «узнаваемый *стиль* или *текстовой идиолект*» [12, с.24], а читатель — «это не что иное как интеллектуальная (и, добавим мы, чувственно-эмоциональная. — Е.Г.) способность воспринимать этот стиль, соучаствовать в его актуализации» [12, с. 25]. Термин «автор» может быть использован в связи с этим только в метафорическом смысле — как обозначение актуализированной с помощью языка «текстовой стратегии». С одной стороны, эта стратегия присутствует в атомарном виде в каждом из элементов текста, а, с другой, она представляет собой универсальный **метаобраз** всего текста, имеющий, по остроумному замечанию Ю.С.Степанова, вид пирамиды, в основании которой лежит максимальное число выявленных читателем-интерпретатором языковых элементов с «художественным», т.е. одновременно и выразительным, и изобразительным смыслом (ср.: [8, с. 292]). По мере продвижения к вершине число этих элементов уменьшается, сами они укрупняются — в зависимости от своей композиционной и архитектурной роли, а также участия в системе «прагматических фокусов» текста и выдвижения на роль его «эстетических доминант», что было в очень сжатой форме показано выше.

В нарратологическом ракурсе художественный текст представляет собой «концептуальное» речевое высказывание некоего творческого субъекта, представляющее авторскую «картину мира», интроспективный взгляд автора на (внешний и внутренний) мир, которое делимитировано протяженной в горизонтальной плоскости знаково-словесной системой и одновременно с этим открыто и практически безгранично — благодаря «соучастию» читателя — в вертикальном разрезе как смысла всего текстового целого, так и смыслов отдельных составляющих его элементов. Повествовательная речь прозаического текста при этом, если учитывать эгоцентрическую и интроспективную природу словесно-художественных произведений, объединяет в себе признаки, с одной стороны, «аутичной» речи, т.е. речи, когнитивно и прагматически

ориентированной не на установление некой истины, а на удовлетворение собственных интеллектуальных и эмоционально-чувственных желаний, и, с другой, «рационально-естественной» речи, обеспечивающей контакт с читателем. В нарративе может, далее, больше или меньше акцентироваться одна из двух эгоцентрических установок автора: «внутренняя» (познание «я» в собственном внутреннем мире) и «внешняя» («я» в его отношениях с другими «я» и так называемым «внешним миром»). Эти две повествовательно-прагматические установки, или две универсальных «точки зрения», в текстовой стратегии словесно-художественного произведения образуют своеобразную субъектно-объектную антиномию: автор мультиплицирует свое «я» в фигурах персонажей, которые существуют и действуют в речевой реальности литературного произведения как бы независимо от воли их создателя, и вкладывает в то же время в каждый из объектов мира, воображаемого им и доносимого с помощью языка до читателя, субъективные, т. е. в определенном смысле тенденциозные, иначе говоря, эгоцентрические, оценки. Выстраивая композицию и архитеконику своего речевого произведения в избранной повествовательной технике (например, с использованием повествования от 1-го или 3-го лица; «безличного» и «всезнающего» нарратора, меняющих друг друга повествователей или персонифицированного повествователя-персонажа; фиксированного или неограниченного времени-пространства; прямых, косвенных и несобственно-прямых форм речи персонажей и др.), которые создают, на первый взгляд, абсолютно независимую «субъектность» и «субъективность» нарратора и действующих лиц, автор «управляет» ими, сознательно либо бессознательно подчиняясь своему эгоцентризму, многослойному в когнитивном, психологическом и прагматическом плане.

При этом художник слова может объективировать свою эгоцентрическую позицию для читателя в языковой ткани текста системой «прагматических фокусов» композиции, помещая, например, наиболее престижные для смысла элементы в «сильные позиции» заглавия, начала и конца (всего текста или его отдельных частей), прибегая к разным видам повторов (буквальных, синонимических, ассоциативно-образных и др.) и порядка слов в предложениях, связывая разные части текста дистантными или контактными «фигурами контраста», «фигурами умолчания», «фигурами уточнения»

и т. д. Так, интерпретация в этом аспекте каждого из имеющих метафорический смысл заголовков известных произведений Гюнтера Грацца („Aus dem Tagebuch einer Schnecke“, „Ein weites Feld“, „Mein Jahrhundert“, „Beim Häuten der Zwiebel“, „Im Krebsgang“) позволит читателю среди прочего составить представление о мировоззрении писателя, его этических и социально-политических предпочтениях.

В то же время многослойность эгоцентрических точек зрения автора художественного текста, с одной стороны, и читателя, «разгерметизирующего» их, с другой, в значительной мере снижают абсолютную значимость и когнитивную ценность художественных образов, допуская множественность их толкований. Но полная релятивность текстового смысла невозможна благодаря его фиксации в форме знаково-определенной и делимитированной текстовой целостности, а также вследствие интердискурсивной связи текста с реальными внешними обстоятельствами.

Для лингвостилистической интерпретации форм проявления эгоцентризма и интроспекции в художественном прозаическом тексте важно также то, что эти феномены могут трактоваться либо широко — как универсальные имманентные принципы порождения и восприятия литературных текстов, либо узко — как конструктивный принцип создания текстов на основе использования в качестве «композиционно-смыслового ядра» повествования местоимения «я», соотношенного с неким концентрирующимся на собственной индивидуальной «точке зрения» (психологической, пространственно-временной, межперсональной и др.) повествовательным субъектом. Обладая полем сильного семантического и грамматического «напряжения», местоимение «я» как обозначение нарратора «стягивает» на себя целую систему «эгоцентрических» языковых и речевых единиц (глаголы ментального и психического состояния, эмоционально-чувственного восприятия, модальные глаголы, глаголы с семантикой оценки, средства дейксиса, лексику с эмоционально-оценочной и ассоциативной коннотациями и др.). Например:

Ich habe bis heute die im Vorgarten des Konsumgebäudes liegenden mit Leintüchern zugedeckten Toten nicht vergessen — und komme ich heute in die Nähe des Bahnhofs, sehe ich diese Toten und höre ich diese

verzweifelten Stimmen der Angehörigen dieser Toten, und der Geruch von verbranntem Tier- und Menschfleisch in der Fanny von Lehnerstraße ist auch heute und immer wieder in diesem furchtbaren Bild.

(Bernhard 1995: 36)

Приведенный фрагмент из лирической прозы Т.Бернхарда демонстрирует, что местоимение «я», определяя как «композиционно-смысловое ядро» текста его повествовательно-речевую перспективу, объединяется предикативными отношениями с «эгоцентрическими» глаголами (*vergessen, sehen, hören*) и становится семантической и прагматической основой скопления на небольшом отрезке текста отдельных зрительных и слуховых образов и их превращения в кумулятивный и ассоциативно разветвленный образ, в котором сочетаются черты и «внешнего» и «внутреннего».

Но это отнюдь не означает, что эгоцентризм повествовательного «я» в этом случае может напрямую интерпретироваться как актуализация эгоцентрической и интроспективной позиции автора текста, так как повествовательный субъект «я» является, как известно, лишь одной из многочисленных «масок», за которыми скрывается автор. В художественном словесно-речевом произведении возникает уникальное в прагматическом смысле несоответствие между ментальным и речевым субъектом нарратива: реальный автор текста оставляет «симптоматические следы» своей творческой активности (по В.Шмиду), а также своих мыслительных операций и эмоционально-чувственных реакций в виде одного из возможных приемов организации индексального плана речевой партии нарратора и языковых средств выражения ментальной сферы его квазисознания, которые лишь опосредованно реализуют собственную эгоцентрическую позицию автора. А «право читателя» состоит здесь в том, чтобы, исходя из собственных эгоцентрических и интроспективных состояний, проинтерпретировать форму и содержание образов разных речевых субъектов, действующих в изображенном мире текста, и на этой основе понять суть актантной и иллюкутивной роли автора художественного произведения.

Литература

1. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. СПб.: Наука, 1994.
2. Барт Р. Смерть автора // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. Минск: Современное Слово, 1998.
4. Гончарова Е. А. Стиль как антропоцентрическая категория // Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. *Studia linguistica*. 8. СПб.: Тригон, 1999.
5. Костелянец Б. О. Творческая индивидуальность писателя. Л.: Сов. писатель, 1960.
6. Овсянко-Куликовский Д. Н. Язык и искусство. СПб.: Русская мысль, 1895.
7. Сильман Т. И. Заметки о лирике. Л.: Сов. писатель, 1977.
8. Степанов Ю. С. Французская стилистика. М.: Высшая школа, 1965.
9. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004.
10. Хомякова Е. Г. Эгоцентризм речемыслительной деятельности. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2002.
11. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.
12. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М.: Изд-во РГГУ, 2005.
13. *Bernhard. Th. Die Ursache. Eine Andeutung.* München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995.
14. Ironie als literarisches Phänomen / Hrsg. H. E. Hass, G.-A. Mohrlüder. Köln: Kiepenheuer/Witsch, 1973.
15. *Knobloch H.-J. Goethe: neue Ansichten — neue Einsichten.* Würzburg: Königshausen/Neumann, 2007.

ЛИЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕМЕЦКОГО ИСТОРИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVIII ВЕКА

Для раскрытия темы настоящего исследования, т. е. определения личностных параметров историко-грамматического дискурса Германии XVIII в., как нельзя лучше подходят удивительные слова, высказанные немецким обладателем Нобелевской премии по литературе Гюнтером Грассом. Этими словами он начинает свою историческую повесть «Встреча в Тельgte» (*Das Treffen in Telgte*). В ней писатель парадоксальным образом реконструирует события, произошедшие более трехсот лет назад: «Вчера будет то, что было завтра. Наши сегодняшние истории, очевидно, произошли не сейчас. Эта началась более трехсот лет назад. Другие тоже. Так издали берет начало любая история, случаемая в Германии» (*Gestern wird sein, was morgen gewesen ist. Unsere Geschichten von heute müssen sich nicht jetzt zugetragen haben. Diese fing vor mehr als dreihundert Jahren an. Andere Geschichten auch. So lang rührt jede Geschichte her, die in Deutschland handelt*) [11, S. 7].

Истоки современного немецкого научного дискурса следует искать в эпохе, пронизанной просветительскими тенденциями, определявшими общественную, политическую, культурную и научную жизнь европейских государств. Именно эпоха Просвещения, охватившая всю Европу и продолжавшаяся весь XVIII век, знаменует переход от невежества и научной косности к пониманию решающей роли разума и науки в познании природы человека и общества.

М. М. Бахтин, говоря о пространстве и времени в произведениях Гёте, пишет о необходимости исторического подхода к эпохе Просвещения: «При таком подходе XVIII век раскрывается как эпоха *могучего пробуждения чувства времени*, прежде всего чувства времени в природе и в человеческой жизни. До последней трети века преобладают циклические времена, но и они при всей их ограниченности взрывают плугом времени неподвижный мир предшествующих эпох. И в этой взрыхленной циклическими временами почве начинают раскрываться и приметы исторического времени. Противоречия современности, утрачивая свой абсолютный, богом данный, вечный характер, раскрывают в современности историче-

скую разновременность — пережитки прошлого и зачатки, тенденции будущего» [2, с. 217].

Личностные параметры историко-грамматического дискурса XVIII века можно определить только в опоре на документальные свидетельства этого периода. Примечательно, что среди текстов, оказавших наибольшее воздействие на развитие европейской науки, В.Г. Адмони называет тексты, в которых документально зафиксированы достижения в математике и астрономии, а также в филологии и логике [1, с.105–106]. Как не вспомнить в этой связи то обстоятельство, что вплоть до XVIII в. перечисленные выше научные дисциплины составляли основу так называемых «семи свободных искусств», в число которых, как известно, включались грамматика, риторика, диалектика (называемая логикой), арифметика, геометрия, астрономия, музыка (см., например, [3, с. 7]).

Приведенное выше замечание В.Г. Адмони относится к периоду становления современной западноевропейской науки, которая, по словам автора, «начинает свое мощное поступательное движение, начиная с XVI в., достигает огромных высот в XVII в. и затем все быстрее и быстрее приводит к невероятным успехам на широчайшем фронте. Такое развитие отмечено отказом от характерного для средневековья следования авторитету античных текстов и выдвиганием на передний план опыта и математического обоснования научных выводов» [1, с. 106].

Немецкое Просвещение, характеризующееся в том числе и «выдвижением на передний план опыта и математического обоснования научных выводов» (см. приведенную выше цитату В.Г. Адмони), занимает выдающееся место в истории европейской науки и культуры, причем осознание данного факта пришло не сразу. Некоторая ясность в этот вопрос была внесена только в период позднего Просвещения, когда свою позицию по данному вопросу высказали несколько выдающихся немецких представителей науки и культуры. Удивительно, что поводом к полемике о сущности просвещения послужила статья малоизвестного автора, напечатанная в «Берлинском ежемесячном журнале» (*Berlinische Monatsschrift*).

В декабрьском номере ежемесячника за 1783 г. была опубликована статья берлинского пастора Иоганна Фридриха Цёлльнера, выступившего против заключения браков гражданскими властями. Эта статья стала ответом на выступление анонимного автора

в сентябрьском номере журнала в пользу института гражданского брака. В интересах государства Цёлльнер выступил в защиту церковного брака и полемизировал с автором и его сторонниками, кроме всего прочего, по поводу того «смятения в умах и сердцах людей», которое вызывает само слово «Просвещение» [13, S. 3].

Это выступление, вероятно, осталось бы незамеченным, если бы не провокационный вопрос, поставленный автором в примечаниях к статье: «Что такое просвещение? На этот вопрос, который почти так же важен, как вопрос: Что такое истина?, вероятно, следовало бы ответить прежде, чем приступать к просвещению! И все же я нигде не смог найти ответа на этот вопрос!» (*Was ist Aufklärung? Diese Frage, die beinahe so wichtig ist, als: Was ist Wahrheit? sollte doch wohl beantwortet werden, ehe man aufzuklären anfinge! Und doch habe ich sie nirgends beantwortet gefunden!*) [Ibid.].

Этот вопрос, поставленный до той поры никому не известным протестантским пастором в статье о гражданском браке и помещенный к тому же в сноске внизу страницы, имел важные последствия и оказался чрезвычайно плодотворным для истории европейской философии. Ответ современников Цёлльнера не заставил себя долго ждать.

Первым в полемику вступил философ Мозес Мендельсон, поместивший в сентябрьском номере берлинского журнала за 1784 г. сочинение «О вопросе: что значит просвещать?» (*Über die Frage: Was heißt aufklären?*). Для языковедов наиболее важным представляется та часть его ответа, в которой он связывает между собой понятия «просвещение», «культура», «образование» и «язык»: «Язык достигает просвещения благодаря наукам и достигает культуры благодаря общественному обращению, поэзии и красноречию. Благодаря первому фактору (т. е. просвещению. — К. Ф.) он становится более удобным в теоретическом, благодаря второму фактору (т. е. культуре. — К. Ф.) — в практическом использовании. Оба фактора вместе придают языку образованный вид» (*Eine Sprache erlanget Aufklärung durch die Wissenschaften und erlanget Kultur durch gesellschaftlichen Umgang, Poesie und Beredsamkeit. Durch jene wird sie geschickter zu theoretischem, durch diese zu praktischen Gebrauche. Beides zusammen gibt einer Sprache die Bildung*) [14, S. 4–5].

Следующим оппонентом выступил Иммануил Кант со своим афористичным разъяснением вопроса «Что такое просвещение?»

(Was ist Aufklärung?). Знаменитый философ сформулировал своеобразный девиз всей эпохи Просвещения: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» (*Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliebung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung*) [12, S. 9].

Для Канта путь к просвещению предполагал свободу (*Freiheit*) и публичное использование разума (*öffentlicher Gebrauch der Vernunft*). Философ проводил четкую границу между частным и публичным применением разума: «...Применение священником своего разума перед своими прихожанами есть лишь частное его применение, ибо эти прихожане составляют только домашнее, хотя и большое, собрание людей. И ввиду этого он, как священник, не свободен и не может быть свободным, так как он выполняет чужое поручение. В качестве же ученого, который через свои произведения говорит с настоящей публикой, а именно с миром, стало быть при публичном применении своего разума, священник располагает неограниченной свободой пользоваться своим разумом и говорить от своего имени» (*Der Gebrauch also, den ein angestellter Lehrer von seiner Vernunft vor seiner Gemeinde macht, ist bloß ein Privatgebrauch; weil diese immer nur eine häusliche, obzwar noch so große, Versammlung ist; und in Ansehung dessen ist er, als Priester, nicht frei, und darf es auch nicht sein, weil er einen fremden Auftrag ausrichtet. Dagegen als Gelehrter, der durch Schriften zum eigentlichen Publikum, nämlich der Welt, spricht, mithin der Geistliche im öffentlichen Gebrauche seiner Vernunft, genießt*

einer uneingeschränkter Freiheit, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen Person zu sprechen) [Ibid., S. 13].

Приведенная выше цитата интересна тем, что Кант дает в ней краткую характеристику научно-исследовательского подхода, характерного для всей эпохи Просвещения. Хотелось бы еще раз подчеркнуть ключевые слова Канта, характеризующие позицию ученого, пытающегося вникнуть в тайны природы и общества: 1) ученый говорит с миром посредством своих произведений, 2) применение разума должно осуществляться публично, 3) в своей деятельности ученый пользуется неограниченной свободой и 4) говорит от своего имени.

Последующие участники полемики дополнили картину о том, что же такое просвещение. Писатель и поэт Христоф Мартин Виланд сравнивал просвещение со светом, при котором вещи предстают в истинном облике (*sobald Licht gebracht wird, klären sich die Sachen auf*) [19, S. 23]. Немецкий теолог Андреас Рим видел в просвещении потребность человеческого разума (*Aufklärung ist ein Bedürfnis des menschlichen Verstandes*) [16, S. 29]. Фридрих Шиллер призывал «наберись смелости стать умнее» (*Erkühne dich, weiser zu sein*). [18, S. 55].

Приведенные выше мысли были высказаны немецкими просветителями во второй половине XVIII в. Но необходимо заметить, что намного ранее **Готфрид Вильгельм Лейбниц** подчеркивал: «Мы тем свободнее, чем больше поступаем сообразно рассудку, и тем больше поработены, чем больше поддаемся страстям» [5, с.7]. (*Wir sind um so freier, je mehr wir der Vernunft gemäß handeln, und um so mehr geknechtet, je mehr wir uns von der Leidenschaft regieren lassen*).

Одну из своих немногочисленных работ, написанных на немецком языке (*Unvorgreifliche Gedanken, betreffend der Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache*), Лейбниц начинает словами: Известно, что язык является зеркалом разума, и что народы, если они хотят возвысить свой разум, одновременно должны хорошо владеть языком, как показывают примеры греков, римлян и арабов *n*) (*Es ist bekandt, daß die Sprach ein Spiegel des Verstandes, und daß die Völcker, wenn Sie den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben, welches der Griechen, Römer und Araber Beyspiele zeige*) (цит. по: [15, S. 327]). Знаменитая метафора Лейбница «Язык есть

зеркало разума» стала ключевой для понимания позиции ученых-просветителей в области языка.

Готфрид Вильгельм Лейбниц представил своё понимание знакового характера языка: «Однако при использовании языка особо нужно отметить то, что слова являются знаками не только мыслей, но и вещей, и что знаки нам нужны не только для того, чтобы сообщить наше мнение другим, но и помочь самим нашим мыслям» (*Es ist aber bey dem Gebrauch der Sprache auch dieses sonderlich zu betrachten, dass die Worte nicht nur der Gedancken, sondern auch der Dinge Zeichen seyn, und dass wir Zeichen nöthig haben, nicht nur unsere Meynung andern anzudeuten, sondern auch unsern Gedancken selbst zu helfen*) [Ibid., S. 328].

В понимании Лейбница, слова — это «разменные монеты» (*Rechen-Pfennige*), «векселя разума» (*Wechsel-Zettel des Verstandes*), используемые вместо образов и вещей [Ibid., S. 329]. При этом слова должны быть «хорошо оформленными, хорошо различимыми, доступными, употребительными, легко произносимыми и приятными» (*wohl gefasset, wohl unterschieden, zulänglich, häufig, leichtfließend und angenehm*) [Ibid.].

Лейбниц мечтал о создании искусственного языка, специально приспособленного для научных целей, свободного от метафор и образных выражений. В основе аргументации, по его мнению, должны лежать математические действия, тем более, что сам Лейбниц своими трудами доказал, каких высот может достичь наука при использовании математических методов (подробнее см. [9, S. 208–209]).

Один из наиболее влиятельных представителей немецкого Просвещения, идейный продолжатель дела Лейбница **Христиан Вольф** (1679—1754) стремился подчеркнуть роль разума, логических законов и форм мышления в науке и культуре. Это стремление прослеживается в самом названии многих произведений Вольфа, которые начинались словами «Разумные мысли» (*Vernünftige Gedanken*). Сфера научных интересов Христиана Вольфа была чрезвычайно обширной.

В 1726 году Вольф представил собственное описание своих философских трудов, вышедших на немецком языке (*Ausführliche Nachricht des Autoris von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher Sprache von den verschiedenen Theilen der Welt-Weisheit heraus gegeben*).

В этом произведении мы находим много положений, созвучных мыслям Лейбница о роли разума в изучении природы и общества, а также развивающих его концепцию языка.

В 4-й главе этой книги под названием «О свободе философствования, которой пользуется автор» (*Das 4. Capitel. Von der Freyheit zu philosophiren, deren sich der Autor bedienet*) немецкий ученый неоднократно говорит о личной ответственности исследователя за результаты научного поиска. При этом он сначала ссылается на свой собственный опыт, а уже затем формулирует общее правило, содержащее главный смысл научного поиска. Ср.: «В поисках истины я ориентировался на себя, а не на других» (*Ich habe mich in Beurtheilung der Wahrheit nach mir und nicht nach andern gerichtet*) [20, 126–127]; или: «Свобода философствования состоит в том, чтобы в поисках истины ориентироваться не на других, а на себя. Потому что если ты склонен считать что-либо истинным, ибо кто-либо другой говорит тебе, что это истинно, и нужно согласиться с доказательством только потому, что другой (человек) считает его убедительным; то тогда ты попадаешь в рабство (*Und hierinnen besteht die Freiheit zu philosophiren, daß man sich in Beurtheilung der Wahrheit nicht nach andern, sondern nach sich selbst richtet. Denn wenn man gehalten ist etwas für wahr zu halten, weil es ein anderer saget, daß es wahr sei, und den Beweis deswegen muß gelten lassen, weil ihn der andere für überzeugend ausgiebt; so ist man in der Slavery*) [20, S. 132].

В середине главы Христиан Вольф высказывает мысль, достойную включения в энциклопедию знаменитых фраз немецкой эпохи Просвещения: «Разуму нельзя приказать» (*Der Verstand lässet sich nicht befehlen*) [Ibid. S. 130].

И хотя Вольфа уже в XVIII и — особенно — в XIX в. упрекали в излишней педантичности и догматизме, тем не менее, своим рационалистическим подходом, основанным на правилах логики и охватывающим все уровни анализа от понятийного до системного и текстового, в рамках научного дискурса XVIII в. он не только открыл перед современниками новые функциональные возможности немецкого языка, но и определил контуры той парадигмы письменной научной речи, которая имеет свое значение и для современной науки. Кстати сказать, строгая систематика научного подхода, характерного для вольфианского периода немецкой науки, оказал благотворное влияние на многие последующие поколе-

ния европейских ученых, в том числе на философские изыскания Иммануила Канта [17, 43–44].

Крупный немецкий писатель и теоретик литературы эпохи Просвещения **Иоганн Христов Готшед** (1700–1766) был признанным последователем Лейбница и Вольфа. Наиболее значительным трудом в области грамматики считается его книга «*Grundlegung einer deutschen Sprachkunst*», которая вышла в свет в 1748 г. и служила образцом учебника по грамматике многие десятилетия [9, S. 215].

Уже в самом названии учебника Готшед закладывает свое видение немецкой грамматики; ср.: «*Grundlegung einer deutschen Sprachkunst, nach den Mustern der besten Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhunderts abgefasst*». Ориентация писателя на лучшие образцы текстов немецких писателей «прошлого и нынешнего веков» позволяет некоторым авторам назвать позицию Готшеда «просвещенным разумным вариантом старого образца» (*eine aufgeklärt vernünftige Variante des alten Musters*) [8, S. 248].

Готшед стремился к созданию совершенного языка, это видно хотя бы из того, что одна из глав его грамматики называется «*Von der Vollkommenheit einer Sprache überhaupt*». В этом разделе, кроме всего прочего, перечисляются черты, создающие совершенный облик языка. В § 3 говорится: «Насколько богатство и изобилие составляют первую сторону совершенства языка, настолько очевидно, что вторую особенность составляет понятность языка. Потому что язык — это средство, с помощью которого люди выражают свои мысли, и притом с намерением, что они будут поняты другими людьми» (*Wie nun der Reichthum und Überfluß die erste Vollkommenheit einer Sprache abgeben: so ist es auch gewiß, daß die Deutlichkeit derselben die zweyte ist. Denn die Sprache ist das Mittel, wodurch man seine Gedanken, und zwar in der Absicht ausdrucket, daß sie von andern verstanden werden sollen*) [10, S. 50]. В четвертом параграфе Готшед добавляет еще одно свойство: «Третье свойство языков — это краткость, или выразительность, т. е. способность несколькими словами выразить множество мыслей (*Die dritte gute Eigenschaft der Sprachen ist die Kürze, oder der Nachdruck; vermöge dessen man, mit wenigen Worten, viele Gedanken entdecken kann*) [Ibid., S. 51].

По мнению Л. Айхингера, основу грамматики Готшеда составляет «правильный разумный язык образованных людей» (*die gebildete, geregelte Sprache der Vernunft*) [8, S. 250]. Ср. высказывание Готше-

да: «Грамматика вообще — это обоснованные указания, как следует говорить и писать на языке какого-либо народа, в соответствии с его лучшим диалектом и в согласии с лучшими писателями» (*Eine Sprachkunst überhaupt ist eine gegründete Anweisung, wie man die Sprache eines gewissen Volkes, nach der besten Mundart desselben, und nach der Einstimmung seiner besten Schriftsteller, richtig und zierlich, sowohl reden, als schreiben sollte*) [10, S. 37].

Взгляды представителя позднего немецкого Просвещения **Иоганна Кристофа Аделунга** носят явно выраженные черты сходства с грамматическими воззрениями Готшеда. Главный лексикографический труд Аделунга — создание «Грамматико-критического словаря немецкого литературного языка» (*Das Grammatisch-kritische Wörterbuch der hochdeutschen Mundart*), работа над которым заняла 12 лет (1774–1786). Во всех произведениях Аделунга, включая его словарь, видны черты просветительских идей XVIII в.

В работе *Umständliches Gebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schule* (1782) Аделунг, обращаясь к школьным учителям, пишет: «Грамматика присуща разумному и научному сообщению в той же степени, что любая другая наука, и обязанность любого учителя грамматики — дать всем понятиям в языке высшую, какую только возможно, степень понятности и разъяснить начала всей явлений, насколько это позволяет природа вещей» (*Die Sprachlehre ist des vernünftigen und wissenschaftlichen Vortrages eben so sehr fähig als eine jede andere Lehre, und es ist die Pflicht eines jeden Sprachlehrers, allen Begriffen in der Sprache den höchsten nur möglichen Grad der Deutlichkeit zu geben und die Gründe aller Erscheinungen aufzusuchen, als die Natur der Sache es verstatet.*) [7, S. 116].

По словам Л. Айхингера, одного из авторитетных современных немецких исследователей творчества Аделунга, в оценке того, что можно считать хорошим стилем немецкого языка, взгляды Аделунга не намного отличаются от концепции Готшеда. Немецкий автор видит много соответствий между оценками нормативного немецкого языка двумя выдающимися учеными-просветителями. Так, признаки хорошего стиля, упоминаемые Готшедом в своих трудах (*deutlich, artig, ungezwungen, vernünftig, natürlich, edel, wohlgefaßt, ausführlich, wohlgeknüpft, wohlangeheilet*), во многом, соответствуют характеристикам, приводимым в своих работах Аделунгом (*Hochdeutsch, Sprachrichtigkeit, Reinigkeit, Klarheit, Deutlichkeit, Angemessen-*

heit, Präzision, Würde, Wohlklang, Einheit). И только четырьмя признакам языка в трактовке Аделунга нет соответствия в концепции Готшеда, а именно: *Hochdeutsch, Sprachrichtigkeit, Reinigkeit, Einheit* [8, S. 258].

При определении личностных параметров историко-грамматического дискурса XVIII века следует учитывать не только основные тенденции, определявшие развитие науки и культуры европейского Просвещения, но и разнообразие концепций, применяемых авторами при решении частных задач. Примером такого совмещения общих принципов и частных способов может служить фрагмент, содержащийся в словарной статье *Das Zeitwort* главного произведения Аделунга. В этом тексте автор называет причину, по которой он предпочитает латинский термин какому-либо немецкому слову: «нелегко найти подходящее немецкое слово, которое выражало бы основное содержание с т о ч н о с т ь ю и в к у с о м (разрядка моя. — К. Ф.)» (*so wird sich wohl nicht leicht ein schickliches Deutsches Wort ausfindig machen lassen, welches auch nur den Hauptbegriff mit Präcision und Geschmack ausdrückte*) [6, S. 1681]. Два названных выше критерия — точность (т. е. опора на разум) и вкус (т. е. ориентация на личные пристрастия автора) — полностью соответствуют основным понятиям эпохи Просвещения.

Таким образом, главные движущие идеи эпохи Просвещения — опора на разум и свобода творчества — обусловили появление крупных достижений во многих областях науки и культуры. Грамматические концепции Лейбница, Вольфа, Готшеда, Аделунга позволили заложить основы современного немецкого языкознания, которые затем были продолжены трудами братьев Гримм, Вильгельма Гумбольдта и других выдающихся немецких лингвистов.

Литература

1. Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. М.: Наука, 1994.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. / сост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1979.
3. Исидор Севильский. Этимологии, или Начала. В XX книгах: Семь свободных искусств / пер. с латин., статья, примеч. и указатели Л. А. Харитонова. СПб.: Евразия, 2006.
4. Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 25–36.

5. *Энциклопедия афоризмов и мыслей великих людей* / сост. А. Семёнов. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007.
6. *Adelung J. Chr.* Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. 4. Theil, von Seb — Z. Wien: Anton Pichler, 1808.
7. *Adelung J. Chr.* Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen. 1. Band. Leipzig, 1782.
8. *Eichiger L. M.* Vom Glück, Regeln zu befolgen — Adelung im Stil des 18. Jahrhunderts // Aufklärer, Sprachgelehrter, Didaktiker: Johann Christoph Adelung (1732–1806) / Hrsg. von H. Kämper, A. Klose, O. Vietze. Tübingen: Günter Narr Verlag, 2011. S. 247–270.
9. *Göttert K.-H.* Deutsch. Biografie einer Sprache: 4. Aufl. Berlin: Ullstein, 2010.
10. *Gottsched J. Chr.* Grundlegung einer deutschen Sprachkunst, nach den Mustern der besten Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhunderts abgefasst, und bey dieser dritten Auflage merklich vermehret von Johann Christoph Gottscheden. Leipzig, 1752.
11. *Grass G.* Das Treffen in Telgte: 4. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998.
12. *Kant I.* Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung! // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von E. Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 8–17.
13. *Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland.* Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von E. Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006.
14. *Mendelssohn M.* Über die Frage: Was heißt aufklären? // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von E. Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 3–7.
15. *Pietsch P.* Leibniz und die deutsche Sprache // Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 4. Reihe. 1908. H. 30. S. 313–356.
16. *Riem A.* Aufklärung ist ein Bedürfnis des Menschlichen Verstandes // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von E. Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 28–36.
17. *Schiewe J.* Zum Wandel des Wissenschaftsdiskurses in Deutschland // Reden und Schreiben in der Wissenschaft / Hrsg. von P. Auer und H. Baßler. Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2007. S. 31–49.
18. *Schiller Fr.* Über die Grenzen der Vernunft // Kant, Erhard, Hamann, Her-

der, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von E. Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 53–56.

19. *Wieland Chr.* M. Sechs Fragen zur Aufklärung // Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, Wieland. Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen / Hrsg. von E. Bahr. Stuttgart: Reclam, 2006. S. 23–27.

20. *Wolff Chr.* Christian Wolffens ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher Sprache von verschiedenen Theilen der Welt-Weisheit heraus gegeben. 2. Ausg. Frankerfurt/M., 1733.

**АНОНИМНЫЙ СБОРНИК ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ XV ВЕКА
ИЗ ЛЮБЕКА В РУКОПИСИ НЕМ. Q. I. 310 РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ**

I

Изучение языка средневековых текстов с учетом специфики их истории в рукописной традиции способствует решению ряда проблем, связанных как с реконструкцией условий, в которых вырабатывались типовые формы литературного языка, так и с описанием механизмов функционирования языковых моделей в текстах. В настоящей работе с этой точки зрения будет рассмотрен сборник прозаических трактатов мистико-аллегорического и дидактического содержания, который сохранился в нижненемецкой рукописи конца XV в., хранящейся в Российской национальной библиотеке (РНБ, Санкт-Петербург, в прошлом Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина — ГПБ) под шифром Нем. Q. I. 310. Однако прежде чем перейти к предмету нашего исследования, представим краткий обзор истории и современного состояния историко-филологического изучения немецких средневековых рукописей в России.

Внимание к немецким рукописным текстам из отечественных собраний проявляется уже в середине XIX в. Среди самых ранних работ следует отметить небольшой каталог, опубликованный на немецком языке старшим хранителем иностранного отдела Императорской Публичной библиотеки Р. И. Минцловым (1811–1883). В нем содержатся подробные описания нескольких средневековых немецких рукописей и фрагментов из собрания Публичной библиотеки, а также выборочное издание некоторых текстов и весьма подробный филологический комментарий [45]. Есть у Минцлова и специальные работы — например, публикация выдержек рифмованного катехетического трактата «Дорога на небо» («Die Himmelsstraße») из рукописи Нем. Q. v. XIV. 1 1383 г. [46].

В советское время тексты немецких рукописей из фондов ГПБ находились на периферии внимания отечественных и тем более зарубежных исследователей. На этом фоне выделяется серия ста-

тей М. Ф. Мурьянова (1928–1995), ученика В. М. Жирмунского (две из них — в соавторстве с Г. М. Щербой), посвященных палеографическому и филологическому изучению нескольких рукописных фрагментов с текстами памятников немецкой средневековой литературы [47; 48; 49; 50].

В целом, следует признать, что появление названных работ было связано прежде всего с необходимостью описания рукописных собраний российских библиотек, при этом о долгосрочном планировании исследований речи не шло. В каждом случае мы имеем дело с исследованиями, стоящими в стороне от основных направлений развития советской исторической германистики. Поэтому о научной преемственности в области изучения рукописных текстов вплоть до середины 1990-х годов говорить сложно.

Ситуация коренным образом изменилась в последнем десятилетии прошлого века. Важную роль сыграли исследования в области истории немецкого (прежде всего прусского) права и делопроизводства, для которых немецкие рукописные кодексы и документы — хранящиеся в библиотечных собраниях Москвы и Санкт-Петербурга, представляют ценнейший исторический материал. В частности, проблематике русско-немецких контактов в документах Ганзейского союза городов и Великого Новгорода посвящены многие работы Е. Р. Сквайрс: укажем лишь монографии [19] и [69]; библиографические ссылки на работы Е. А. Сквайрс и других отечественных исследователей, посвященные анализу языка средненижнемецких грамот, см. там же, а также [23, с. 85–113] (в разделе описаний немецких и латинских грамот из бывшего гальберштадтского собрания) и [66].

Большинство рукописных текстов, недавно оказавшихся в поле зрения отечественных германистов — как историков, так и лингвистов, — относятся к различным жанрам правовой и религиозной литературы XV–XVI вв., причем средненижнемецкие рукописи представлены в подавляющем большинстве. Целенаправленный характер приобрело в последние годы изучение немецких рукописей в хранилищах Санкт-Петербурга: это касается прежде всего работ А. Л. Рогачевского и Т. Н. Таценко по истории правовой письменности в продолжение еще дореволюционных исследований, см. [16, с. 136–138; 17; 18; 24; 25; 26; 27; 52; 53; 54]; в указанных работах можно найти тщательные обзоры исследовательской традиции,

связанной с изучением рукописных книг, грамот и писем в санкт-петербургских собраниях. Необходимо также отметить работы М. Г. Логутовой, посвященные рукописным текстам средненижне-немецкой и средненидерландской традиции богословских трактатов Нового благочестия, а также содержанию и структуре позднесредневековых немецких молитвенников, см. [7; 8; 9; 10; 11].

Серьезным стимулом к возрождению общего интереса к палеографическому и лингвистическому изучению немецких средневековых рукописей стало постепенное открытие доступа к собраниям, поступившим в библиотеки Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны. Долгие годы подобные коллекции не обрабатывались, доступ к ним исследователей (прежде всего зарубежных) был затруднен, рукописи не вводились в фонды; см. чрезвычайно информативный сборник материалов Круглого Стола «Реституция библиотечных ценностей и сотрудничество в Европе», состоявшегося в Москве в 1992 г. [51]. В 1990-е годы, когда активизировалась работа немецкой реституционной комиссии, перед российскими исследователями встала естественная задача ввести тексты рукописей, относящихся к так называемым «перемещенным культурным ценностям», в научный обиход.

В 1997 году группа филологов-германистов и латинистов под руководством профессора кафедры германской и кельтской филологии МГУ Е. Р. Сквайрс начала работу над крупным научным проектом: он был посвящен изучению и описанию собрания рукописных и старопечатных фрагментов IX-XVI вв. на немецком, латинском и древнееврейском языках. Так называемая «коллекция документов Густава Шмидта» хранилась ранее в бывшей библиотеке соборной гимназии Гальберштадта, а после 1945 года попала в фонды Научной библиотеки Московского университета (см. [20]).

Проект завершился рядом публикаций, среди которых центральное место занимает каталог с подробными описаниями фрагментов (Сквайрс/Ганина 2008). Описания сопровождаются серией статей, посвященных палеографическому и лингвистическому и текстологическому анализу отдельных рукописей и текстов; немецкоязычные рукописи исследуются в нескольких статьях Е. Р. Сквайрс и Н. А. Ганиной, а также в статьях приглашенных ими специалистов: С. И. Дубинина, П. В. Морозовой, Н. А. Бондарко. В процессе исследовательской работы, которая, впрочем, продол-

жается и в настоящее время, Е. Р. Сквайрс и Н. А. Ганиной удалось идентифицировать целый ряд ранее не известных текстов, а также списков знаменитых памятников средневековой немецкой литературы. Достаточно упомянуть фрагмент поэмы «Виллехальм» Вольфрама фон Эшенбаха (нач. XIV в.), а также фрагмент самого древнего из известных на сегодняшний день списков крупнейшего памятника ранней немецкой мистики «Струющийся свет Божества» Мехтильды Магдебургской (кон. XIII в.). Последняя находка, исследованная и введенная в оборот московскими лингвистами, стала международной сенсацией в германистической медиевистике [38; 39; 65]. В настоящее время филологическое и историко-лингвистическое изучение текстов гальберштадтской коллекции и других немецких рукописей из московских хранилищ успешно продолжается при активном международном научном сотрудничестве; см. [21; 66; 67; 68; 74].

В Российской национальной библиотеке также имеются немецкие рукописи «трофейного» происхождения. К сожалению, документов, фиксирующих поступление трофейных рукописей в фонды ГПБ, не сохранилось; серия документов, проливающих свет на историю, задачи и деятельность трофейной комиссии Красной Армии на территории Германии после капитуляции, опубликована в [36; ср. 61, с. 488–489]. Известно, однако, что в 1946 году в ГПБ поступили 95 латинских и немецких рукописей XII–XVI вв. Из них 77 рукописей принадлежали ранее библиотеке соборной гимназии Гальберштадта, одна — Городской библиотеке Любека, три — Городской библиотеке Гамбурга. Среди гальберштадтских рукописей преобладают латинские: насчитывается всего 16 кодексов, содержащих, по крайней мере, один текст на немецком языке. В последующие годы Публичная библиотека приобрела несколько рукописей немецкого происхождения (на средненижненемецком языке) в букинистических магазинах Ленинграда и у коллекционеров. Шесть из этих новоприобретенных рукописей происходят также из Городской библиотеки Любека; данные о новых поступлениях ГПБ содержатся в специальных отчетах, публикуемых сотрудниками Отдела рукописей, — см., в частности, [3; 13, с. 49–50; 14]. До недавнего времени сведения о содержании немецкоязычных «трофейных» рукописей в библиотеках Санкт-Петербурга можно было почерпнуть лишь из неопубликованных библиотечных описей. Од-

нако в последнее время появились обзорные работы, существенно упростившие дальнейшее обращение к рукописным материалам, а также специальные исследования отдельных немецких рукописей [18; 32; 54; 55; 72, с. 260–266; 73]. В частности, в статье Ж. Вагоните 2007 года [73] впервые представлен обзор немецкоязычных рукописей РНБ и археографических описаний, содержатся также сведения об истории их поступления в библиотеку. Эта информация существенно дополнена А. Л. Рогачевским [55, с. 110–119].

Впрочем, внимание отечественных исследователей к рукописным текстам не ограничивается собраниями российских библиотек. Наблюдается общий интерес к проблемам филологического изучения памятников средневековой немецкой письменности на рукописном материале, к текстологическому и культурно-историческому контексту изучаемых языковых и литературных явлений. Об этом свидетельствуют специальные научные мероприятия и серии публикаций, посвященные филологическому изучению немецких рукописных текстов в широком сопоставительном контексте в целях поиска новых методологических решений и более точных результатов текстологического характера. Так, в июне 2009 года в Петербурге в рамках ежегодных научных чтений «Индоевропейское языкознание и классическая филология», посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского (Институт лингвистических исследований РАН), состоялся Круглый стол «Средневековые рукописные традиции в Западной Европе: новые источники и новые методы текстологического анализа», на котором обсуждались филологические аспекты рукописной традиции памятников немецкой средневековой мистико-богословской и молитвенной литературы; материалы см. в [5, с. 560–714]; см. также специальный обзор Е. Р. Сквайрс [22]. В апреле 2010 года в Институте лингвистических исследований РАН состоялся рабочий коллоквиум в рамках научно-исследовательского проекта «Анализ средневекового текста» по программе фундаментальных исследований ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации». Его материалы опубликованы в разделе «Средневековые рукописи и лингвистический анализ текста» периодического издания Трудов ИЛИ РАН [34: 463–675]. Следует упомянуть также одну из секций XVI «Лотмановских чтений», ежегодно про-

водимых Институтом высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского при РГГУ в Москве, была названа «Немецкая мистика позднего средневековья: индивидуальный опыт — научный метод»; см. 16-й выпуск международного журнала по теории и истории мировой культуры «Arbor mundi» (2010 г., с. 9–126); см. также обзор М. Ю. Реутина [15]. Доклады участников были посвящены комплексу проблем, связанных с историей немецкой средневековой мистики и разных жанров духовной литературы: в докладах М. Л. Хорькова, М. Г. Логутовой и Н. А. Бондарко эти проблемы были рассмотрены на рукописном материале.

В целом, можно говорить о формировании в России круга исследователей (Е. А. Сквайрс, Н. А. Ганина, М. Г. Логутова, М. Л. Хорьков, Н. А. Бондарко), усилия которых направлены — среди прочего — на разностороннее историко-филологическое изучение рукописных традиций немецкой и нидерландской средневековой духовной литературы.

II

Кодекс Нем. Q. I. 310 происходит из женского конвента св. Михаила в Любеке. История этого монастыря восходит к 1397 году, когда появилась община, основанная для нуждающихся женщин благочестивого образа жизни. В середине XV в. жительницы обители упоминаются как сестры «общей жизни», а вскоре был основан конвент, который в 1463 г. получил в качестве регулярного устава Правило бл. Августина. После Реформации с 1557 по 1810 годы бывший монастырь служил в качестве сиротского приюта. Уже к концу XV в. в скриптории монастыря были переписаны и собраны книги духовного содержания, образовавшие небольшое собрание. В составе этого собрания нижненемецких рукописей наш кодекс в 1806 г. попал в Городскую библиотеку Любека, получив шифр Theol. germ. 4° 25; см. раздел Г. Майера (G. Meyer) [41].

В результате массового перемещения любекских книжных и рукописных собраний в СССР в конце Великой Отечественной войны рукопись оказалась в частном владении советского коллекционера М. И. Чуванова, о чем свидетельствует экслибрис «Из книг М. И. Чуванова». М. И. Чуванов (1890–1988) — известный московский библиофил, знаток и собиратель рукописей, старопечатных

редких книг и икон. Он заведовал типографиями, был старостой Преображенской старообрядческой общины, состоял членом Русского общества друзей книги, Русского библиографического общества при Московском университете и пр. В его коллекцию рукописных книг, насчитывавшую более 600 единиц, входило свыше 40 рукописей XV-XVII вв. Значительную часть своего книжного собрания Чуванов передал Государственной библиотеке СССР им. В.И.Ленина (в настоящее время Российская государственная библиотека) в 1980-е годы (см. [12, с. 388–389; 4]). Наша рукопись относилась к той части коллекции, которая после смерти ее владельца была продана его родственниками. В 1984 году она была приобретена ГПБ (см. [14, с. 145–147]).

О происхождении рукописи свидетельствует колофон на л. 342v: *dit bock hort jn sunte mijchels conuent bi sunte jllien bynnen lubke...* («Эта книга принадлежит конвенту св. Михаила у св. Илии в Любеке»). Как показал кодикологический анализ рукописи (атрибуция водяных знаков и переплета), время ее создания приходится на период между 1459 и 1486 годами. Поскольку данные кодикологического исследования и подробное описание рукописи уже опубликованы нами [32; 1, с. 79–84], в настоящей статье мы остановимся подробнее на ее содержании, особенностях композиционной структуры и стиля, а также истории наиболее значительных текстов.

По своему составу рукопись делится на четыре части, которые выявил еще Пауль Хаген — автор подробных архивных описаний средневековых рукописей из собрания Городской библиотеки Любека (опубликованы в сокращенном виде в каталоге 1922 года [40]); в архивном описании [43] Пауль приводит также начальные фразы («инципиты») всех текстов:

I. Назидательный трактат, посвященный темам покаяния, исповеди и борьбы против семи смертных грехов. В предисловии это произведение называется *en bokeken der waren ruwe* — «Книжица истинного покаяния».

В трактате упоминаются многие католические святые — Августин, Григорий Великий, Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Фома Аквинский, Бернард Клервоский, Гуго Сен-Викторский, Ансельм Кентерберийский. Сначала покаянию дается определение со ссылкой на авторитеты Амвросия, Августина, Иоанна Хризостома и апостола Павла, затем покаяние прославляется,

после чего приводятся доводы в пользу необходимости исповеди (л. 2r–12r). Далее описываются семь смертных грехов: *houerdycheyt* (гордыня, высокомерие) (л. 12r), *hat* (зависть, злоба) (л. 18v), *torne* (гнев) (л. 23r), *tracheyt* (уныние, праздность) (л. 34r), *ghyrycheyt* (алчность) (л. 48r), *vrasze* (чревоугодие) (л. 54v), *vnkusheyt* (блуд, похоть) (л. 65r). Для исцеления от этих грехов предлагается подняться по семи ступеням исповеди: *Nv merke souen grat de du scholt holden yn der bycht also sunte berent secht ...* (л. 102v–113v). Особенно подробно описываются «лекарства» от похоти (л. 70r–70v; 114r–140r), при этом рассматриваются также такие темы, как Страсти Христовы, пост и молитва, исповедь и доверие к Богу.

II. Так называемая «Нижненемецкая аллегория сада» [62; 63, с. 111–114]. Этот памятник мистико-аллегорической литературы представляет собой цикл из четырех текстов:

IIa: л. 140v–168r: трактат «Сад Святого Духа» (заглавие Д. Шмидтке) в рукописи озаглавлен следующим образом: *Hir geyt an en ander capittel dat van deme lydende crysty sprekt*.

IIb: л. 168r–211r: «Розовый сад Страстей Христовых» (заглавие Д. Шмидтке).

IIc: л. 211r–220v: продолжение предыдущего трактата, которое мы озаглавим как «Христос и любящая Душа в Розовом саду».

IIId: л. 220v–225v: «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом» (заголовков наш). Этот короткий текст служит содержательным переходом между второй и третьей частями сборника.

Д. Шмидтке в монографии 1982 года, посвященной аллегории сада в позднесредневековой немецкой мистико-дидактической литературе, предположил, что этот духовно-аллегорический трактат состоит из двух текстов, и обозначил его поэтому как «диптих» [63, с. 56–57, 111–114]. Дело в том, что наша рукопись (L_4 у Шмидтке) — также как и другой любекский список Ms. theol. germ. 8° 59 (L_2 у Шмидтке), в настоящее время снова находящийся в Городской библиотеке г. Любека в результате реституции архивов ганзейских городов со стороны СССР в 1990 году, — считались утраченными вплоть до начала 1990-х годов; список всех рукописей, вывезенных из любекских библиотек, а также рукописей, возвращенных в Любек из библиотек бывшего СССР, см. в [37, с. 185, 189]. Поэтому Шмидтке мог опираться только на одну нижненемецкую рукопись XV в. Ng 2 (Cod. 73 E 23 Гаагской Королевской библиотеки), в ко-

торой содержались первые две части «Нижненемецкой аллегории сада» и небольшая компиляция из прочих текстов нашей рукописи Нем. Q.I. 310. Что же до обеих любекских рукописей, то в распоряжении Шмидтке оставались лишь архивные описания, выполненные П. Хагеном, — правда, чрезвычайно подробные; ср. [62, кол. 1095].

Тем не менее, именно Шмидтке поставил важный вопрос о том, существуют ли — а если существуют, то какие — содержательные и композиционные связи между обеими частями «диптиха», с одной стороны, и между самим «диптихом» и двумя последующими текстами — с другой. Шмидтке писал: «В обеих любекских рукописях за “Нижненемецким Садам-диптихом” (“Niederdeutsches Gartendiptychon”) следуют еще два текста, близко стоящих к “Розовому Саду Страстей Христовых” как по своей тематике, так и по образности. Поскольку любекские рукописи были для меня недоступны, я не в состоянии определить степень зависимости или самостоятельности этих текстов. <...> Судя по заглавиям и начальным предложениям, можно предположить, что в обоих небольших текстах развиваются и оформляются мотивы и темы, взятые из “Розового Сада”» [63, с. 111–112; здесь и далее перевод цитат мой. — Н. Б.].

Как показал наш собственный анализ содержания и стиля двух первых и двух последних текстов, предположение Шмидтке об их связанности оправдалось, так что можно говорить о цикле из четырех трактатов о мистическом саде, из которых только два первых были включены в состав гаагского сборника, — отсюда и введенное в научный оборот обозначение «диптих».

Па. «Сад Святого Духа» представляет собой дидактическую аллегорию сада в душе. В центре сада — аллегорического образа сердца — Св. Дух сажает дерево, приносящее «плоды истинного совершенства»: *De hyllyghe ghest plantet syne vrucht rechter vullenkamenheyt yn dyne zele* (л. 143v). Эти 12 плодов описываются подробно на л. 143v–153r *Nv merke der vrucht des hillighen ghestes der synt twelwe also see hir na stan gheschreuen...: 1) «совершенная любовь» (vullenkamene leue: л. 143v–144r); 2) «совершенная радость» (vullenkamen vroud, л. 144r–144v); 3) «совершенный мир» (vullenkamen vrede, л. 144v–146r); 4) «терпение» (ghedult, л. 146r–146v); 5) «кротость» (sachmodycheyt, л. 146v–147r); 6) «совершенная благодать» (vullenkamene ghude, л. 147r); 7) «совершенная покорность» (vullenkamene*

wyllycheyt, л. 147r–147v); 8) «смирение» (*otmodycheyt*, л. 147v–148v); 9) «совершенная мера или умеренность» (*vullenkamene mate edder metelycheyt*, л. 148v–150v); 10) «совершенная вера» (*en vullekamen loue*, л. 150v); 11) «совершенное воздержание» (*vullenkamen vntholdynghe*, л. 150r–151v); 12) «совершенное целомудрие» (*vullenkomen kūsheyт*, л. 151v–153r).

Добродетели, названные в качестве плодов Св. Духа, хорошо соотносятся с достоинствами души в «Книжице истинного покаяния», достигаемыми через покаяние и исповедь. Так, например, «чистота сердца» (*reynucheyт des herten*) — первое из трех условий, необходимых для схождения Бога в сад человеческой души (л. 154v–159r). Мистико-аллегорической кульминацией трактата является описание «сада заключенного», который был некогда насажден Св. Духом: теперь Христос должен войти в него в качестве Жениха, чтобы вступить в беседу со своей Невестой — человеческой душой — и воссоединиться с ней в любви (л. 160r–164v).

В конце первого трактата цикла затрагивается мотив причастности души Богу — мотив этот становится центральной темой во втором тексте цикла. Душе обещана награда — переживание Страстей вместе с Христом: *er maket dy deelaftych alle dat vordenst synes arbeydes vnde des lones vnde der vrucht synes lydendes vnde synes gheghotenen blodес | dar du van rike werst des schattes synes mylden blotgetendes* | (л. 167r; знак | используется нами в качестве нейтрального пунктуационного знака для разграничения элементарных предложений, поскольку пунктуация в рукописи ограничивается маюскулами).

Пб. Созерцанию страданий Христа посвящен второй трактат цикла — «Розовый сад Страстей Христовых». Весь текст строится как призыв к любящей душе пройти весь страстной путь Иисуса Христа на Голгофу вместе с ним: *O wltu nv | dat vnse leue here ihesus christus vake kame yn dynen gharden vnde hemelke vruntlike rede myt dy make | So vlyte dy dar ok na | dat du vakene kamest yn synen garden | Syn gharde dat ys de roszen gharde synes hillyghen lydendes | Dar scholtu yn ghan vnde spasseren dar inne van deme enen rosenbome to deme anderen* | (Bl. 168r).

По отношению к Христу с его кровоточащими ранами постоянно используется метафора Розового куста. Композиция текста и риторические эффекты строятся на многократном повторе языковой конструкции, основу которой составляют начинающееся

с восклицания обращение к душе и глагол в императиве: *O zele* + *Imp*. Например:

O zele | spassere vort an vnde sok de rosen des lydendes ihesu christi dynes alderleuenesten broders | beschouwe dar enen wytten roszenbom | Se | wo eme dar en wyt clet wer anghetoghen to schympe vnde to spotte... (л. 171r–171v);

O zele | gha nv en luttik vort an deme gharden dynes leues vnde warde nv myt vlyte | wente nv scholtu vynden enen wunnichlyken roszenbom | dede vul is der alderschonsten roden roszen || Su nv | wo dyn alderleueste brudegham ihesus wert gheblotet syner cledere vnde naket to der sule ghebunden | (л. 172v).

После сопережитой душою смерти Христа на кресте мистическая медитация вступает в заключительную фазу: страдание души преобразуется в благодатное состояние, в котором она открывается сердцу Христа, представляющему в аллегорическом образе чудесного Розового сада. Трактат завершается словами о возрастании благодатного состояния в саду роз по мере разгорания в душе любовной жажды: *Vnde also vele also du heter byst yn der leue vnde also de (sic!) dorstigher dyn begher is to den benedyeden roszenvaren wunden | Also vele sotychheit vnde trostes tustu to dy yn dyne zele | Wente na der grote der begherynghe volghet ok de grote der ghaue | vnde yo dy de her mer steder vnde vaher vynt yn synen gharden vnde mank synen roszen | yo he vaker wedder kumt yn dynen gharden vnde to dyner vrucht |* (л. 210v–211r).

Пс. Третий трактат цикла развивает тематику «Розового сада», мы назовем его «Христос и любящая душа в Розовом саду Страстей». Оба текста самым тесным образом связаны между собою не только содержательно, но и стилистически — даже на уровне словесных и образных повторов. Трактат «Христос и любящая душа» начинается так: *Hir gheyt nv an | wo de ynnyghe zele syck hebben schal yn der tyt | wen se wyl Vnde begheret to spasserende yn den garden eres leues ihesu crysty | Vnde wo se ere begher senden vnde senken moge to den roden roszenvaren wunden eres leues |* (л. 211r–v). Речь идет об описании встречи души и Иисуса Христа в Розовом саду, происходящей по завершении страстного пути Христа (которому был посвящен предыдущий трактат).

Встреча и диалог Христа и Души стилизуется под диалог Жениха и Невесты (Соломона и Суламифи) в Песни Песней. Душа должна заранее подготовиться к приходу Жениха. Затем она патетически взывает к Св. Духу и просит его очистить сад ее сердца, украсить его и насадить там двенадцать плодов (см. первый трактат цикла), чтобы подготовить его к появлению Христа. В этом монологе базовой структурной моделью также оказывается императивная конструкция. Особенно часто повторяется глагол *komen*, заполняющий главную позицию в стереотипной структуре, при помощи которой оформляется обращение к Св. Духу.

Приведем отрывок из текста, визуально расположив его так, чтобы риторико-синтаксическая структура его выглядела прозрачной. Вертикальные черты мы вводим для разграничения синтагм (в большинстве случаев совпадающих с сентенциальными клаузами). Двойные линии маркируют границы законченных сложных предложений. Эти знаки ориентированы на риторическую структуру текста и не тождественны обычным знакам пунктуации:

O kum hillighe gheest |
kum du vader der armen vnde der bedroueden en trost |
Kum alder soteste troster werde hillighegheest |
vnde vorluchte my |
vnde vntfenghe yn my dat vür dyner alder sotesten leue ||
O kum vnd toghere nycht |
Sok myn herte |
vnde storete dar yn dat vür dyner leue | also En blasz dat nummer
ghelesschet werde ||
O du alder sotestes kunstener vnd hoghe werkmester |
kum vnde werke yn my Vnde vormydelst my | dat dyneme gotliken
willen beheghelyck sy ||
kum Vnde reynyghe mynen gharden |
vnde vorberne alle vncrut myner suntliken begherynghe |
Vnde snyt van my de wylden vnbruchsamen |
twyghe myner vnsteden dancken |
vnde rode vte my alle olde wortele myner sunde myner wonheyt
myner wansede vnde ydelicheyt |
beueste myn ghemote myt steder hode dynes wyllen |
vnde yn bewarynghe der ynwendyghen doghet vnde vruchtsamche-
yt make vruchtbar mynen gharden |

Vnde beuette ene myt deme oloye der vrolicheyt |
 vnde bedouwe ene myt deme watere dyner gnade |
 beplante ene myt gudeme vorsate vnd hilligher begherynghe |
 Also dat dy luste Dar yn to plantende dyne twelf vrucht |
 Vppe dat so wenne myn lefhebber ihesus cristus kumt | vnde
 wyl seen | wer myn gharde ok bloye vnd vruchtsam wyl wer-
 den | dat he em Denne wol bevalle || (л. 213r–214v).

Как только Душа получает утешение от Св. Духа, она начинает с нетерпением ждать своего Жениха. Поскольку он всё еще не приходит, Душа должна посылать к нему пятерых послов, представляющих собой аллгорию пяти набожных мыслей: *So scholtu rat na em senden vyf snelle boden | dede wol ghecleedet myt riker ghewate | dede gheslike ghebere hebben vnde otmodyghe wort voren || Dese vyf baden dat synt vyf sote danken wol ghecleedet vnd ghetzyret* | (л. 215r–v). Как только Христос получает послание, он уже больше не может противиться мольбам и желанию Души: он является незамедлительно и приносит богатые дары, которыми и утоляет духовную жажду Души.

Заключительная часть трактата оформлена как молитва Души к Богу: она молит о возможности созерцания его ран и в будущем, о собственном очищении и прощении ее грехов, чтобы в конце концов удостоиться божественных объятий: *... Vnde tzyre my denne myt dyneme duren soten roszenvaren blode vnde beholdest yn my Dyn bylde | lat my werden deelaftyche alle dynes arbeydes lydendes vnde vordenes | Also dat yck myt sekerycheit myt starker begherynghe myt vryen consciencien vnde vrolicheyt moghe komen vor dyn mynnichlike antlat | Also dat ick myt allen lef hebbenden zelen werde vmme ghevanghen myt den armen dyner leue yn soter rouwe vnde clarer brukynghe ewych sunder ende | Amen | deo laus et gloria* || (л. 220r–v).

Ид. Последний короткий текст нижненемецкой аллгории сада можно озаглавить как «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом». Он важен для понимания характера связей между всеми четырьмя трактатами этого цикла.

В трактате «Христос и любящая душа» (Пс) встречается образное сравнение любящей души с пчелой, которая перелетает с одного цветка Розового сада (т. е. раны страждущего Христа) на другой и высасывает сладкий мед созерцания Страстей Христовых: *O du alder begherlikeste ihesu | ghif my en snel begher to dy vnde ghyf der su-*

*luen begherynghe twe vloghele Also ghestlick hungheer vnde rechtuerdyghe andacht | vppe dat myn begheer also en ymmeken moghe vlegghen myt soter lust der doghede yn dynen gharden mank den roszen dyner honnych vletenden wunden | Vnde moghe na my sughen myt Dorstygher begherynghe dat sote honnych dyner eddelen mynschen vnde den soten sem dyner benedieden ghotheyt... (л. 218v–219r). Эта же аллегорическая картина появляется и в трактате «Розовый сад» (IIb): *vnde dar na so mach vnse leue here got ihesus cristus Dyne begherynghe so vntflammen | dat du denne mocht senden dyn beger wen du wult yn den eddelen roszengharden also de ymmeken yn de roden roszenvaren wunden ihesu | Also dat du myt dyner begherynghe mochtst vlegghen van wunden to wunden | van lydent to lydende | van pynen to pynen | rechte also de ymme vlucht van blomen to blomen... (л. 210r–v).**

Аллегория пчелы подхватывается уже в самом начале четвертого трактата цикла, причем в ее языковом воплощении обнаруживаются дословные совпадения с текстом «Розового сада»: *Nv is to wetende | dat welk mynsche myt groter hulpe vnde steder ouynghe dar to ghekomen is | dat he kan myt syneme ghemote yn der betrachtynge Des lydendes cristi yanken vnde ouerghan edder vlegghen van lydent to lydende | van pynen to pynen | Vnde van wunden to wunden | Also de ymme deit | dede vlucht van blomen to blomen vnde sucht dar vth dat honnych also wol vthe bytteren blomen also vthe soten vnde allent | dat se to sik sucht | dat maket se yn syck sote | (л. 220v–221r).*

Здесь весьма распространенная в средневековой богословской литературе аллегория праведной души как пчелы, прилежно трудящейся над медом божественной мудрости (об истории аллегорического комплекса, связанного с образом пчел, меда и медового сота в иудео-христианской библейской и апокрифической традициях см.: [2, с. 142, 161–162]), меняет свою мистическо-созерцательную направленность в пользу более прагматической, дидактической перспективы. Образ пчелы получает дополнительное значение: это не только абстрактная любящая душа, но и — в более определенном социальном смысле — праведный человек духовной жизни (*religiosus*), который принимает мед мистических озарений вместе с болью. Пчелам противопоставляются мухи, которые в поисках одного лишь наслаждения летают не только над цветами, но и вообще повсюду: *Ock synt etlyke mynschen | dede wol byt wilen vlegghen vppe de roszen varen wunden myt ereme ghemote nycht also de ymme men*

also de vlege | Wente de vleghe vlucht nv vppe de blomen | nv vppe dat hor edder mesz | also dot ock desse mynschen | (л. 223r). С помощью этого образа подвергаются критике ложные монахи и клирики — святоши с их внешним благочестием.

Заключительные слова этого короткого трактата образуют переход от второй части сборника к третьей, состоящей из серии коротких назидательных текстов: *...vnde dar vmme en smaken se noch en sammelen nycht Dat sote honnych der wüнден crysty noch sote vrucht anderer doghede* (л. 225r–v).

III. В третьем цикле рукописного сборника П. Хаген насчитывает в общей сложности 36 текстов, содержащих назидание людям духовной жизни. Это число, однако, не бесспорно, поскольку некоторые тексты распадаются на самостоятельные отрезки, которые даже выделены в рукописи при помощи инициалов. Так, в трактате «Тринадцать ступеней к духовной жизни» (№ 7, л. 230v–232r–235r–237r) можно распознать четыре части, а в «Шести способах достижения совершенства» (№ 11, л. 240r–240v–241v) и в «Четырех вредных и четырех полезных вещах для дружбы с Богом» (№ 12, 242v–243r–243v) — по три самостоятельных сентенции.

Особого упоминания заслуживает трактат «Назидание для человека духовной жизни, стремящегося к совершенству» (№ 14 л. 246v–254v), озаглавленный следующим образом: «*Hir beghinnet de achte vnd dat leuent enes yeweliken ghestlyken mynschen de gode behaghen wyl vnde in dogheden tonemen wyl*».

Трактат состоит из четырех текстов, связанных между собой весьма свободно и отделенных друг от друга при помощи инициалов:

- 1) Inc.: *TO deme ersten vlyteliken schal he vmme van reynycheyt des herten Stede oghen nedder gheboghet to der erden* (л. 246v);
- 2) Inc.: *Na dessen stucken so schal men deghere merken De vorghanghenen sunde vnd ok de yeghenwardighen* (л. 247v–248r);
- 3) Inc.: *In allen dogheden vnde yn allen ghuden werken so sette vor dy den spegel vnde dat alderclareste bilde aller hillicheyt Dat is dat leuent vnses heren ihH xr0 de dar to vns van deme hemmele ghesand is dat he vns vore ghynghe an deme wege der doghede Vnde dat he vns myt syneme bylde geue de ee des leuendes vnde der tucht* (л. 248r);

- 4) Inc.: *Hyr vmme so speghele dy alle daghe an dat alder hilligheste leuent vnser heren yhesu crysty Vnde lere syne sede oue dy an sy nen bilden also an der scholde der dogede* (л. 252^v).

Третий текст (л. 248^v–252^r) нам удалось идентифицировать как полный перевод 20-й главы из 1-й книги трактата Давида Аугсбургского «*De exterioris et interioris hominis compositione secundum triplicem statum incipientium, proficientium et perfectorum libri tres*» («О формировании внешнего и внутреннего человека в соответствии с тройным статусом начинающих, продолжающих и совершенных в трех книгах»), гл. XX: [35, с. 25–27]. До сих пор этот перевод известен не был (он был недавно опубликован нами в сопоставлении с латинским оригиналом в [1, с. 87–92]). Давид Аугсбургский (ум. в 1272 г.), бывший руководителем школы новициев (послушников) и молодых монахов францисканского ордена в Регенсбурге и Аугсбурге, написал этот свой главный латинский труд в середине XIII в. Первая книга трактата предназначена для новициев, она была особенно популярна в монастырской среде далеко за пределами францисканского ордена и часто переписывалась отдельно под названием «*Formula de compositione hominis exterioris ad novitios*» («Назидание о формировании внешнего человека для новициев») или же просто «*Formula novitiorum*» («Назидание для новициев» [35, с. 3–36]); см. введение к изданию трактата Давида Аугсбургского, выполненного францисканским исследовательским центром св. Бонавентуры в Кваракки: [35, с. IX–XXXVI]; ср. [59, с. 49; 29, с. 90–98, 188–199]. На протяжении XIV–XV вв. она неоднократно переводилась на разные позднесредне- и ранненововерхненемецкие диалекты, а также средненижненемецкий (до сих пор издан только один нижненемецкий перевод, в котором исходный текст переработан для монахинь: [28, с. 195–237]), средненидерландский и среднеанглийский языки.

Темой 20-й главы является воспоминание об образе жизни Христа, служащего «зеркалом», образцом для подражания каждому монаху. Это традиционный для христианской литературы топос «памяти о Боге», *memoria Dei*; о роли этого топоса в сочинениях Давида Аугсбургского и способах его языкового представления см.: [31, с. 67–68, 72–73]. Стилистика и содержание трактата Давида Аугсбургского для новициев наилучшим образом укладываются в программу назидательного сборника в рук. Нем.Q. I. 310.

В отличие от упомянутых текстовых комплексов третьей части сборника, распадающихся на более мелкие составляющие, некоторые короткие тексты, трактуемые Хагеном как самостоятельные, напротив, могут быть объединены в небольшие циклы, характеризующиеся содержательной и формально-стилистической однородностью. Так, в текстах № 8 («Чем должен обладать человек духовной жизни», л. 239r–239v), № 9 («Каким должен быть верный слуга Божий», л. 239v), № 10 («Четыре вещи, по которым узнается добрый человек», л. 240r) и № 11a–c («Шесть способов достижения совершенства», л. 240r–241v) описываются качества и дела настоящего человека духовной жизни. Различным духовным упражнениям посвящены № 18 («Три способа преуспеяния в духовной жизни», л. 257r–v), № 19 («Семь упражнений в добродетели», л. 257v–261r) и № 20 («Семь мыслей, которые надлежит продумывать ежедневно», л. 261r–262v).

Заметно выделяется цикл текстов, посвященный теме совершенной любви к Богу: № 28 («О совершенной любви», л. 271r), № 29 («Семь препятствий для любви к Богу», л. 271v–273v), № 30 («Семь признаков любви к Богу», л. 273v–274v), № 31 («Семь признаков преуспеяния в любви к Богу», л. 274v–275v) и № 32 («Шесть полезных вещей для любви к Богу», л. 275v–278v). Этот цикл обнаруживает значительное содержательное сходство с группой глав другого средненижненемецкого сборника духовной прозы, опубликованного в 1485 году печатником Бартоломеусом Готаном (Bartholomäus Ghotan) в Любеке (кн. I, л. 96r–107v). Тем не менее, как отмечал уже Хаген, это разные тексты [43, л. 36; ср. 56, кол. 131–132; 57, кол. 1442–1443].

Текст № 34, представляющий собой наставление для новичиев, отличается от предыдущих несколько большим объемом (л. 284r–304v). Адресат (*gestlyke mynschen*), жанровая принадлежность (*lere* — по образцу наставлений св. Писания и святых отцов) и содержательная направленность текста (*wo wy vns hebben scholen beyde to gode vnde to vnsen euenen mynschen vnd to vns suluen*) определяются уже в первой фразе: *Wy vynden yn der hilgen schryft vele nutter lere | wo wy vns hebben scholen beyde to gode vnde to vnsen euenen mynschen vnd to vns suluen Vnde van allen staten ghestlyk vnd werlyk | yo doch so scholen gestlyke mynschen syk vlytygher reyeren na der schryft vnde na der lere der hilgen vedere wen werlyke mynschen |* (л. 284r–v). Речь идет о жи-

вущих «правильно» (*geschicket, schycklyk*) и «неправильно», «бестолково» (*vngeschicket*). Сначала скептически описывается образ жизни мнимых праведников, «бестолковых» (*de vngheschuckeden*) во внутренней духовной работе (л. 284r–295v). Далее следует перечисление требований, предъявляемых к настоящим праведникам, а также список возможных нарушений монастырской дисциплины и соответствующих наказаний (л. 295v–304v).

В этом тексте снова появляется метафора сада и связанное с нею требование к читателям очистить сердце от пороков: *Vnde hyr vmme de dar wil schycklyk vnde dogetsam werden Vnd vntfencklyk des hilgen gestes | de mot alle desse stucke Vnde der gelyk van syk legghen vnde vthraden vormydelst lede vnd ruwe vnd lutter bycht Vnde sman se rechte also galle edder vorgyft | vnde mot don also en vlytych gerdener | de synen garden reynyget | de tūt vp Vnde radet vth alle vncrut myt de wortelen beyde cleen vnde grot | wente he wet wol weret | dat he vuste bouen aftoghe den struk Vnde lete de wortelen dar ynne | so en wolde de garde edder syn sat nynen guden dege hebben yn syneme vpwassende || Dar vmme moth en mynsche vlytych hir ane weszen synen garden des herten vnde syn anghehauene gestlyke leuent to reynygende van allen olden vndogeden vnde vnschickelicheyt | (л. 292r–293r).*

В двух последних текстах третьей части продолжается регламентация повседневной монастырской жизни и развивается тема духовных упражнений: № 35 («О совершенстве, самопознании и еще шесть упражнений», л. 304v–316r) и № 36 («Краткое руководство к духовной жизни», л. 316r–320v).

IV. Тексты последней части сборника резко отличаются от предшествующих как по содержанию, так и по структурно-композиционным особенностям. Три текста, посвященные теме грядущего наказания за грехи (№ 1: л. 321r–337r, № 2: л. 337v–339r, № 3: л. 339v–342v), представляют собой не что иное, как мозаичную подборку цитат из пророческих книг Ветхого Завета с немногочисленными короткими вставками компилятора. Последний текст завершается цитатой из 9-й главы книги пророка Иеремии, за которой следуют короткие заключительные стихи:

*Dyt behaget my sprekt got de here
Des sy eme lof vnd ere
Nu vnde yummer mere*

*Hir bauen an syneme ryke
mit den hilgen alle to lyke
Nu vnd to ewygen tyden
de helpe vns de sunde gans vormyden
vnd dat wy nummer dwelen
Sunder gades denst an vnser zele telen Amen.* (л. 342v).

Нам неизвестны другие рукописи, в которых сохранились бы другие списки текстов из последней части сборника. Напротив, гораздо лучше обстоит дело с тремя первыми частями. Как уже было отмечено нами, П. Хаген еще в 1909 году обратил внимание на значительные соответствия между большинством текстов этих частей сборника (л. 140v–239v) и составом любекской рукописи Ms. theol. germ. 8° 59, л. 11v–106v. Логичным представляется предположение Хагена о том, что Ms. theol. germ. 8° 25 (= Нем. Q.I. 310) является антиграфом по отношению к Ms. theol. germ. 8° 59: «... Рубрикатор Ms. 25, который неоднократно вставлял неверные инициалы, пишет на л. 229r *D* вместо *V*, так что здесь стоит *Der dogede*, а в Ms. 59, л. 98v на соответствующем месте стоит *Dre dogede*, в то время как на самом деле перечисляются четыре [добродетели]» [44, с. 7–8].

Еще интереснее текстовые параллели между Санкт-Петербургской рукописью и рук. 73 E 23 Гаагской Королевской библиотеки, датируемой серединой XV в. В последней, согласно Шмидтке, текст первых двух частей нижненемецкой аллегории сада («диптиха») переписан полностью. Кроме «диптиха», в Гаагской рукописи присутствует компиляция на основе ряда текстов из первых трех частей Любекского сборника, которые только в Санкт-Петербургской рукописи сохранились целиком (зависимый от нее список в любекской рукописи Ms. theol. germ. 8° 59 не содержит «Книжицы истинного покаяния»); текстовые соответствия обоих главных списков сборника представлены в виде таблицы в нашей статье: [32, с. 149–152]; текст Гаагской рукописи известен нам в настоящее время только по подробному описанию К. Борхлинга [33: 254–263], поэтому полученные результаты сравнения имеют предварительный характер.

Итак, сопоставление состава обеих рукописей позволяет сделать вывод о существовании некоего нижненемецкого сборника мистико-аллегорической и духовно-назидательной прозы, кото-

рый должен был оформиться не позднее середины XV в. На его основе редактор Гагской рукописи и создал свою компиляцию (правда, о принадлежности компиляции непосредственно писцу Гагской рукописи можно говорить лишь условно, поскольку о предшествующей рукописной традиции нам ничего не известно). Наиболее полно состав этого сборника сохранился именно в Санкт-Петербургской рукописи (части I–III). Все его компоненты были тщательно структурированы в композиционном отношении, они были тесно связаны между собой тематически и стилистически. Проведенный нами анализ однозначно показал, что тексты Пс и Pd («Христос и любящая Душа в Розовом саду Страстей Христовых» и «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом»), следующие за «диптихом» Па и Пб, составляют с ними композиционное единство. В свете новых данных следует отказаться от использования самого термина «диптих» по отношению к трактатам «садового» цикла, а характеристика логических взаимосвязей между двумя первыми трактатами, предложенная Д. Шмидтке, должна быть пересмотрена (см. [63, с. 112–113]). Впрочем, и сам Шмидтке ставит преднамеренность и первичность двухчастной структуры аллегории сада в Гагской рукописи под сомнение: «Были ли обе части текста изначально запланированы как своего рода диптих, или же какой-то редактор либо сам автор лишь позже решил создать что-то вроде ответного текста, используя тематику уже готового произведения, — это, конечно, остается трудно разрешимым вопросом» [Ibid.]; ср. [62, кол. 1095].

Примечателен еще один факт, дающий представление об историко-литературном контексте Любекского сборника. Как было установлено К. Борхлингом, первые три текста Гагской рукописи, посвященные темам духовных упражнений и совести (*conscientia, samwitticheyt*) (л. 1ra–6vb), являются частью сборника «Зерцало добродетелей» («Spreygel der dogede»), широко распространенного в рукописной традиции еще до его издания Бартоломеусом Готаном (Borchling 1899: 254–255). Таким образом, тексты «Зерцала добродетелей» следует рассматривать не только как пример духовной прозы, близкой к текстам Любекского сборника типологически и хронологически, но и как непосредственный текстологический контекст (*Mitüberlieferung*) Гагской компилятивной редакции. Иными словами, некоторые тексты этих двух сборников встреча-

ются друг с другом на одном из этапов развития рукописной традиции. Совместное бытование мистико-аллегорических медитативных текстов с практически ориентированными наставлениями для членов духовных общин было в позднесредневековой традиции духовной литературы явлением обычным.

Следует также обратить внимание на любекскую рукопись Ms. theol. germ. 4° 1 последней четверти XV в., которая после перемещения в СССР хранится в РГБ (Москва) под шифром Ф. 755, № 71; см. [61, с. 494–495]. В ней записаны многие тексты, включенные в сборник «Зерцало добродетелей». Как и Санкт-Петербургский кодекс, она была написана в том же самом любекском женском конvente св. Михаила, той же сестрой Эльсевией (*Elsebe*); см. [40, с. 12].

Возможно, еще одним ключом к историко-литературному контексту Любекского сборника может служить приблизительная датировка и локализация Гаагского манускрипта. Определяя его диалект как западный северонидерландский с нидерландскими вкраплениями, Шмидтке делает предположение о возникновении аллегии сада в области, «открытой нидерландскому влиянию» [62, кол. 1096; 63, с. 112–115]. Это предположение должно быть распространено на архетип всего сборника (части I–III Санкт-Петербургской рукописи). Господствующим духовным движением в Нидерландах в середине XV в. было Новое благочестие (*Devotio moderna*); об истории Нового благочестия и особой культуре рукописной книги в кругах его представителей см., например: [6; 7]. Гипотеза Шмидтке о влиянии литературы Нового благочестия на возникновение «Нижне немецкой аллегии Сада» — или даже о ее непосредственной принадлежности к духовной литературе этого направления — теперь может быть дополнительно подкреплена наличием в сборнике обнаруженного нами перевода из «Назидания для новициев» Давида Аугсбургского. Популярность латинских трактатов Давида в кругах Нового благочестия в северной Германии и Нидерландах — хорошо известный факт; см. [29, с. 204–208; 42; 58, с. 80–81; 59, кол. 51–52; 64; 70]. Таким образом, мы получаем возможность утверждать, что именно эта традиция повлияла на всю программу сборника. Появление такого сборника, относящегося к широко распространенному типу немецких назидательных книг (*Erbauungsbücher*), в общине сестер «общей жизни» любекского конвента св. Михаила представляется логичным; о монастырском

укладе сестер «общей жизни» см., например: [7, с. 233–236; ср. 60]. У истоков же жанра духовно-назидательного сборника в немецком языковом ареале стоит аугсбургский сборник последней четверти XIII в. «Сад духовных сердец» («Geistlicher Herzen Bavngart»), построенный, главным образом, на материале немецких сочинений Давида Аугсбургского: он содержит тексты с аллегорией «сада» и «зеркала»; см. текстологическое исследование и издание Х. Унгер: [71]; об аллегории сада в этом трактате см.: [63, с. 75 и сл.; 30].

В результате проведенного исследования мы знаем, что любекская монахиня, переписавшая сборник духовно-прозаических текстов, не была его составительницей: по всей вероятности, его основа была сформирована не позднее середины XV в., за несколько десятилетий до создания нашей рукописи. К сожалению, в настоящее время отсутствуют данные для локализации архетипа, однако не приходится сомневаться в том, что Санкт-Петербургская рукопись содержит текст, наиболее полно отражающий первоначальный состав сборника. Этот, условно говоря, *Любекский* сборник духовной прозы мы считаем вполне самостоятельным и целостным памятником позднесредневековой немецкой литературы.

Литература

1. *Бондарко Н. А.* Неизвестный фрагмент трактата Давида Аугсбургского «Formula de compositione hominis exterioris ad novitios» из собрания РНБ // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XV (чтения памяти И. М. Тронского): матер. междунар. конф., проходившей 20–22 июня 2011 г. / отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2011. С. 79–93.

2. *Брагинская Н. В., Виноградов А. Ю., Шмаина-Великанова А. И.* Был ли крест на медовом соте? // *Arbor mundi*. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. Вып. 17. М.: РГГУ, 2010. С. 132–178.

3. *Воронова Т. П., Логутова М. Г.* Новые поступления в западный фонд отдела рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде // *Средние века*. Вып. 49. М.: Наука, 1986. С. 321–323.

4. *Иващенко Н.* История одного собрания. О библиотеке М. И. Чуванова // *Альманах библиофила*. Вып. 4. М.: Книга, 1977. С. 93–100.

5. *Индоевропейское языкознание и классическая филология — XIII*: (чтения памяти И. М. Тронского): матер. междунар. конф., проходившей 22–24 июня 2009 г. / отв. ред. Н. А. Бондарко, Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2009. URL: <http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2009/tronsky2009.pdf>.

6. *Логутова М. Г.* Значение «Devotio Moderna» («Нового благочестия») для Северного Возрождения и Реформации // *Культура Возрождения и средние века.* М.: Наука, 1993. С. 63–73.
7. *Логутова М. Г.* Истоки и организационные формы «Нового благочестия» // *Средние века.* Вып. 61. М.: Наука, 2000. С. 225–253.
8. *Логутова М. Г.* Авторство книги «О подражании Христу» и рукописи Российской национальной библиотеки // *Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки.* СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 240–251.
9. *Логутова М. Г.* Трактаты Фомы Кемпийского в рукописных кодексах из собрания П. К. Сухтелена // *Сухтеленские чтения: матер. междунар. науч. конф., посвященной 250-летию со дня рождения графа П. К. Сухтелена.* СПб.: ГПБ, 2002. С. 144–154.
10. *Логутова М. Г.* Lectio — meditatio — oratio: позднесредневековая монастырская религиозность на примере рукописного молитвенника конца XV в. из собрания Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге // *Historia animata.* Сб. ст. Ч. 3 / под ред. И. И. Варьяш и др. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 96–125.
11. *Логутова М. Г.* Опыт исследования позднесредневековой религиозности на примере немецких рукописных молитвенников из собрания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге // *Символ. Журнал христианской культуры, основанный Славянской библиотекой в Париже.* № 51. Париж; Москва: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. — С. 379–418.
12. *Малышев В. И.* Москвичи — собиратели письменной и печатной старины // *Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) / отв. ред. В. И. Малышев.* Т. XXI: Новонайденные и неопубликованные произведения древнерусской литературы. М.; Л.: Наука. Изд-во Академии наук СССР, 1965. С. 383–389.
13. *Новые поступления* в Отдел рукописей и редких книг ГПБ (1979–1983): Каталог / сост. Л. С. Георгиева; ред. Г. П. Енин. Л.: ГПБ, 1985.
14. *Новые поступления* в отдел рукописей и редких книг ГПБ (1984–1988): Каталог / сост. Л. С. Георгиева, П. А. Медведев; ред. Л. И. Бучина, В. М. Загребин. Л.: ГПБ, 1991.
15. *Реутин М. Ю.* Немецкая мистика позднего средневековья: индивидуальный опыт — научный метод // *Философские науки.* Вып. 8. М.: Гуманитарий, 2010. С. 155–158. URL: <http://www.academyrh.info/html/2010/fn-8.pdf>.
16. *Рогачевский А. Л.* Меч Роланда. Правовые взгляды немецких горожан XIII–XVII вв. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1996. 155 с.
17. *Рогачевский А. Л.* Очерки по истории права Пруссии XIII–XVII вв.: (По материалам рукописных собраний Берлина и Санкт-Петербурга). СПб.: Изд-во Юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2004.

18. *Рогачевский А. Л.* Памятники саксонского права XIII–XVII вв. и связанные с ними источники в рукописных собраниях Санкт-Петербурга // *Западные рукописи и традиция их изучения* / сост. О. Н. Блескина, Н. А. Елагина. СПб.: РНБ, 2009. С. 202–229.

19. *Сквайрс Е. А., Фердинанд С. Н.* Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических контактов. М.: Изд-во Индрик, 2002.

20. *Сквайрс Е. Р.* «Коллекция документов» Густава Шмидта в собрании Московского университета // Е. Р. Сквайрс, Н. А. Ганина. *Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта»* из собрания Научной библиотеки Московского университета: Каталог. Материалы и исследования. М.: МАКС-Пресс, 2008. С. 11–24.

21. *Сквайрс Е. Р.* «Коллекция документов Густава Шмидта» из собрания Отдела редких книг и рукописей Научной Библиотеки Московского университета: Итоги изучения в 1997–2005 г. и перспективы дальнейших исследований // *Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ* / отв. ред. И. Л. Великодная, А. Л. Лифшиц. М.: Изд-во Индрик, 2008. С. 7–27.

22. *Сквайрс Е. Р.* Филологические аспекты изучения средневековых религиозных произведений: «Круглый стол» в Институте лингвистических исследований (Санкт-Петербург) // *Государство, религия, церковь в России и за рубежом.* № 1. М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 198–207. URL: [http://religio.rags.ru/journal/2010/2010_01/J_1-10\(A4\)_198.pdf](http://religio.rags.ru/journal/2010/2010_01/J_1-10(A4)_198.pdf).

23. *Сквайрс Е. Р., Ганина Н. А.* Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта» из собрания Научной библиотеки Московского университета: Каталог. Материалы и исследования. М.: МАКС-Пресс, 2008.

24. *Таценко Т. Н.* Два автографа Мартина Лютера из Санкт-петербургских собраний // *Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки* / под ред. Л. И. Киселевой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 300–310.

25. *Таценко Т. Н.* Бранденбургские рукописи XVI в. из коллекции Н. П. Лихачева в Архиве Санкт-Петербургского института истории РАН // *Вспомогательные исторические дисциплины* / отв. ред. В. Н. Плешков. Т. XXIX. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 212–247.

26. *Таценко Т. Н.* Письма XVI в. герцогов Вюртембергских в коллекции Н. П. Лихачева. // *Вспомогательные исторические дисциплины.* / отв. ред. В. Н. Плешков. Т. XXX. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. С. 311–332.

27. *Таценко Т. Н.* Жанрово-композиционные и лингвостилистические особенности актов о назначении на должность (по материалам немецких грамот XVI в. из архива СПб ИИ РАН) // *Индоевропейское языкознание и классическая филология — XV (чтения памяти И. М. Тронского): матер.*

междунар. конф., проходившей 20–22 июня 2011 г. / отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2011. С. 654–675.

28. *Ahldén T.* Nonnenspiegel und Mönchsvorschriften. Mittelniederdeutsche Lebensregeln der Danziger Birgittinerkonvente. Ein Beitrag zur Geschichte der Mittelniederdeutschen Sprache und Kultur auf Grund der Handschrift C 802 Uppsala. (Acta Universitatis Gotoburgensis LVIII, 1952:2). Göteborg: Wettergren & Kerbers, 1952.

29. *Bohl C.* Geistlicher Raum. Räumliche Sprachbilder als Träger spiritueller Erfahrung, dargestellt am Werk *De Compositione* des David von Augsburg (Franziskanische Forschungen 42). Werl / Westfalen: Dietrich-Coelde-Verlag, 2000.

30. *Bondarko N. A.* Baumgarten und Palmbaum in ihrer Funktion für den Aufbau deutscher geistlicher Prosatexte des 13. Jahrhunderts // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. H. 122: Bedeutungswandel II / Hrsg. von W. Haubrichs. Stuttgart; Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2001. S. 80–135.

31. *Bondarko N. A.* Der geistliche Orden als Bewahrer funktional determinierter sprachlicher Stereotype. Zur sprachlichen Gestaltung von Zeit und Ewigkeit in der oberdeutschen franziskanischen Unterweisung des 13. und 14. Jahrhunderts // Historische Soziolinguistik des Deutschen VIII / Hrsg. von G. Brandt und R. Hünecke. (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik Nr. 439). Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz; Akademischer Verlag, 2007. S. 61–76.

32. *Bondarko N., Logutova M., Lyakhovitskiy E.* Mittelniederdeutsche geistliche Prosa in Handschriften der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg // Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas / Hrsg. von A. Breith u. a. (Zeitschrift für deutsches Altertum, Beiheft 15). Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2012. S. 123–155.

33. *Borchling C.* Mittelniederdeutsche Handschriften in Norddeutschland und den Niederlanden. Erster Reisebericht // Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Geschäftliche Mittheilungen 1898. Göttingen: Commissionsverlag der Dieterich'schen Universitätsbuchhandlung, 1899. S. 79–316.

34. *Colloquia classica et indo-germanica* — V / отв. ред. Н. А. Бондарко, Н. Н. Казанский. (Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН) / отв. ред. Н. Н. Казанский. Т. VII. Ч. 1. СПб.: Наука, 2011. URL: http://iling.spb.ru/pdf/alp/alp_VII_1.pdf.

35. *David ab Augusta O. F. M.* De exterioris et interioris hominis compositione secundum triplicem statum incipientium, proficientium et perfectorum libri tres, castigati et denuo editi a pp. collegii S. Bonaventurae. Ad Claras Aquas (Quaracchi): Ex typographia eiusdem collegii, 1899. 385 p.

36. *Die Trophäenkommissionen* der Roten Armee. Eine Dokumentensammlung zur Verschleppung von Büchern aus deutschen Bibliotheken / Hrsg. von K.-D. Lehmann, I. Kolasa. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft 64). Frankfurt/M.: Vittorio Klostermann 1996.

37. Fligge J., Mielke A., Schweitzer R. Die niederdeutschen Handschriften der Stadtbibliothek Lübeck nach der Rückkehr aus kriegsbedingter Auslagerung: Forschungsbilanz nach einem Jahrzehnt // *Vulpis Adolatio*. Festschrift für Hubertus Menke zum 60. Geburtstag / Hrsg. von R. Peters, H. P. Pütz, U. Weber. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2001. S. 183–237.

38. Ganina N., Squires C. Ein Neufund des „Fließenden Lichts der Gottheit“ aus der Universitätsbibliothek Moskau und Probleme der Mechthild-Überlieferung“ // *Индоевропейское языкознание и классическая филология — XIII* (чтения памяти И. М. Тронского): матер. междунар. конф., проходившей 22–24 июня 2009 г. / отв. ред. Н. А. Бондарко, Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 2009. С. 643–654.

39. Ganina N., Squires C. Ein Textzeuge des „Fließenden Lichts der Gottheit“ von Mechthild von Magdeburg aus dem 13. Jahrhundert // *Zeitschrift für deutsches Altertum*. Bd. 139. Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2010. S. 64–86.

40. Hagen P. Die deutschen theologischen Handschriften der Lübeckischen Stadtbibliothek. (Veröffentlichungen der Stadtbibliothek der freien und Hansestadt Lübeck 1,2). Lübeck: Schmidt, 1922.

41. *Handbuch* der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa / Hrsg. von B. Fabian. Digitalisiert von G. Kükenshöner. Hildesheim: Olms Neue Medien, 2003. URL: [http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek\(Luebeck\)](http://134.76.163.162/fabian?Stadtbibliothek(Luebeck)).

42. Haverals M. Deux exhortations à la vie monastique de la “Dévotion moderne” // *Pascua Mediaevalia: Studies voor Prof. J. M. De Smet* / Hrsg. von R. Lievens, E. van Mingroot, W. Verbeke. Louvain: Universitaire Pers, 1983. S. 605–618.

43. *Lübeck*, Stadtbibliothek, Theol. germ. quart 25 // Handschriftenarchiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften / Beschr. von P. Hagen. Lübeck, 1909. 48 Bl. URL: http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/luebeck_700382320000.html.

44. *Lübeck*, Stadtbibliothek, Theol. germ. oct. 59 // Handschriftenarchiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften / Beschr. von P. Hagen. Lübeck, 1911. 12 Bl. URL: http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Luebeck_700382660000.html.

45. *Minzloff R.* Die altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1853 (Nachdruck Wiesbaden: Martin Sändig, 1966).

46. *Minzloff R.* Die Himmelstraße. Eine altdeutsche Pergamenthandschrift der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg // *Nordische Revue* 1. Leipzig: Verlag von Veit und Comp., 1864. S. 172–186.

47. *Murjanoff M., Szczerba H.* Zur Überlieferung von Wolframs Willehalm // *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*. Bd. 84. Halle/Saale: Niemeyer, 1962. S. 224–235.

48. *Murjanoff M., Szczerba H.* Leningrader Passional-Fragment // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 84. Halle/Saale: Niemeyer, 1962. S. 236–248.

49. *Murjanoff M.* Zur Überlieferung des Seelentrostes // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 86. Halle/Saale: Niemeyer, 1964. S. 189–224.

50. *Murjanoff M.* Zweites Leningrader Passional-Fragment // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 87. Halle/Saale: Niemeyer, 1965. S. 465–470.

51. *Restitution* von Bibliotheksgut. Runder Tisch deutscher und russischer Bibliothekare in Moskau am 11. und 12. Dezember 1992 / Hrsg. von K.-D. Lehmann und I. Kolasa. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft 56). Frankfurt/M.: Klostermann, 1993.

52. *Rogatschewski A.* Handschriften zur preußischen Geschichte des 13. bis 18. Jahrhunderts in St. Petersburger Sammlungen // Quellenvielfalt und editorische Methoden / Hrsg. von M. Thumser, J. Tandecki, A. Thumser. (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition 2). Torun: Wydawnictwo uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. S. 123–151.

53. *Rogatschewski A.* Zur Geschichte des ‚Alten Kulms‘ und anderer preußischer Rechtsbücher nach St. Petersburger Sammlungen // Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven / Hrsg. von R. G. Päsler und D. Schmidtke. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2006. S. 199–243.

54. *Rogatschewski A.* Die sächsisch-magdeburgischen Rechtsdenkmäler und verwandte Quellen in den St. Petersburger Handschriftensammlungen // Grundlagen für ein neues Europa. Das Magdeburger und Lübecker Recht in Spätmittelalter und Früher Neuzeit / Hrsg. von H. Lück, M. Puhle und A. Ranft (Quellen und Forschungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts 6). Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2009. S. 239–281.

55. *Rogatschewski A.* Deutsche mittelalterliche Handschriften in den St. Petersburger Handschriftensammlungen (bis zur Mitte des 16. Jhs). Erschließungsprobleme und Forschungsperspektiven // *Manuscripta germanica*. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas / Hrsg. von A. Breith u. a. (Zeitschrift für deutsches Altertum, Beiheft 15). Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2012. S. 107–122.

56. *Roth G.* ‚Spiegel der Tugenden‘ (‚Speygel der dogende‘) // Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. 2. völlig neu bearb. Aufl. Bd. 9. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1995. Sp. 130–133.

57. *Roth G.* ‚Spiegel der Tugenden‘ [Korr./Nachtr.] // Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. 2. völlig neu bearb. Aufl. Bd. 11. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2004. Sp. 1442–1443.

58. *Ruh K.* David von Augsburg und die Entstehung eines franziskanischen Schrifttums in deutscher Sprache // *Augusta 955–1955. Forschungen und Studien zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Augsburgs* / Hrsg. von H. Rinn. Augsburg: Verlag Hermann Rinn, 1955. S. 71–82.

59. *Ruh K.* David von Augsburg // *Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. 2. völlig neu bearb. Aufl. Bd. 2.* Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1980. Sp. 47–58.

60. *Scheepsma W.* Medieval religious Women in the Low Countries: the 'Modern Devotion', the Canonesses of Windesheim and their writings / Transl. from the Dutch by D. F. Johnson. Woodbridge: The Boydell Press, 2004.

61. *Schiewer H.-J., Schiewer R. D.* Norddeutsche Handschriften in Moskau // *Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburtstag* / Hrsg. von P. J. Becker u. a. Bd. 1 (Beiträge aus der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz 10). Wiesbaden: Reichert, 2000. S. 486–498.

62. *Schmidke D.* 'Gartenallegoriediptychon' (nd.) // *Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. 2. völlig neu bearb. Aufl. Bd. 2.* Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1980. Sp. 1094–1096.

63. *Schmidke D.* Studien zur dingallegorischen Erbauungsliteratur des Spätmittelalters. Am Beispiel der Gartenallegorie. Tübingen: Niemeyer, 1982.

64. *Smits C.* David von Augsburg en de invloed van zijn Profectus op de moderne devotie // *Collectanea Franciscana Neerlandica. Bd. 1.* Teuling: 'S-Hertogenbosch, 1927. S. 171–203.

65. *Squires C.* Mechthild von Magdeburg: Ein handschriftlicher Neufund aus dem elbstfälischen Sprachraum // *Niederdeutsches Jahrbuch. Bd. 133.* Neumünster: Wachholtz, 2010. S. 9–44.

66. *Squires C.* Niederdeutsche Urkunden aus Bremen und Halberstadt: Ansätze zur Erforschung einer städtischen Schreibtradition mit lückenhafter Überlieferung // *Sprache in der Stadt. Akten der 25. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung. Luxemburg, 11.–13. Oktober* / Hrsg. von C. Moulin, G. Ravidá, N. Ruge. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. S. 243–262.

67. *Squires C.* Historische und kulturhistorische Faktoren des Nebeneinanderseins von Niederdeutsch und Hochdeutsch im Mittelalter: Der Fall Halberstadt // *Geschichte und Typologie der Sprachsysteme* / Hrsg. von M. L. Kotin, E. G. Kotorova. Unter Mitarbeit von M. Durrel. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2011. S. 413–424.

68. *Squires C.* Handschriften in deutscher Sprache bis 1500 aus Moskauer Sammlungen // *Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas* / Hrsg. von A. Breith u. a. (*Zeitschrift für deutsches Altertum, Beiheft 15*). Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2012. S. 73–92.

69. *Squires C.* Die Hanse in Novgorod: Sprachkontakte des Mittelniederdeutschen mit dem Russischen, mit einer Vergleichsstudie über die Hanse in England. (Niederdeutsche Studien 53). Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2009.

70. *Stooker K., Verbeij Th.* "Uut Profectus". Over de verspreiding van Middelnederlandse kloosterliteratuur aan de hand van de "Profectus religiosorum" van David van Augsburg // Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza / Hrsg. von Th. Mertens et. al. Amsterdam: Prometheus, 1993. S. 318–340, 476–490.

71. *Unger H.* Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts; Untersuchungen und Text München. (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 24). München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1969.

72. *Vagonytė Ž.* Forschungen zu deutschen Handschriftenbeständen in Bibliotheken und Archiven von Vilnius bis St. Petersburg // Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven / Hrsg. von R. G. Päsler und D. Schmidtke. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2006. S. 245–266.

73. *Vagonytė Ž.* Mittelalterliche deutsche Handschriften in St. Petersburg: Bericht über eine Bibliotheksreise // "Durst nach Erkenntnis ...". Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Zwei Jahrzehnte Immanuel-Kant-Stipendium / Hrsg. von H. Müns und M. Weber (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 29). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007. S. 181–195.

74. *Barow-Vassilevitch D., Dolgodrova T.* Die „Sammlung Klemm“. Handschriften der Sächsischen Bibliographischen Sammlung aus dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum Leipzig im Bestand der Rara-Abteilung der Russischen Staatsbibliothek Moskau // Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas / Hrsg. von A. Breith u. a. (Zeitschrift für deutsches Altertum. Beiheft 15). Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2012. S. 93–105.

Работа выполнена в рамках проекта «Анализ средневекового текста» Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации» (2009–2011 гг.).

НЕМЕЦКИЙ АНЕКДОТ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Антропоцентризм является сегодня одной из главных тенденций лингвистических исследований. В контексте антропоцентрической парадигмы уделяется большое внимание феномену языковой личности, которая в акте коммуникации создает, воспроизводит и декодирует речевые произведения, в том числе и комические.

В процессе коммуникации всякий текст выступает как единство содержательно-смыслового и прагматического начал, как «пучок мотивов, целей, задач, реализуемых с помощью различных языковых средств»; текст в речевом общении — это одновременно и продукт, и инструмент коммуникации. В тексте как предмете исследования оказываются неразрывно связанными два аспекта: с одной стороны, набор лингвистических признаков, свойств и качеств текста (языковые средства, связность, выделенность из ряда текстов, экспрессивность и т. д.), с другой стороны, совокупность его экстралингвистических характеристик (намерение автора, мотивы создания текста, характер адресованности и пр.). Исходя из коммуникативной природы текста, следует учитывать еще и то, что «между реальной действительностью и текстом, ее отражающим, находится сознание языковой личности, как формирующей, так и воспринимающей текст» [1, с. 182].

Анекдот принято определять как краткий, основанный на одном эпизоде, рассказ, часто имеющий диалогическое построение. Это исконно устный фольклорный жанр, так как обычно автора установить не удастся. К обязательным признакам анекдота относится также обязательное наличие кульминации — «остроты», «пуанты».

Шутка-анекдот (нем. *Witz*), по мнению исследователей, — это «языковой и социальный феномен» [2, с. 8], «речевое высказывание, на которое не требуется речевая реакция», так как адекватной реакцией является смех, улыбка [3, с. 18]. Кроме того, анекдот представляет собой коммуникативное действие, в котором участвуют адресант, передающий (рассказывающий) анекдот устно или письменно, и адресат, который, в свою очередь, воспринимает (пони-

мает, принимает) и реагирует смехом, улыбкой. Анекдот можно рассматривать и как «средство коммуникации» — выражение, свернутое в текст в форме речевого отрезка. Как акт коммуникации, осуществляющийся посредством знаков, анекдот характеризуется интенциональностью (предполагает определенное воздействие) и социальным характером (предполагает обязательное взаимодействие участников коммуникации) [4, с. 313].

Существует мнение, что лишь в устной форме, в речи анекдот получает особую привлекательность. Понимая речь как коммуникативное действие, которое реализуется через соотношение говорящий — слушающий, В. Зандерс относит анекдот к особым осознанным речевым актам. В условиях устного анекдота распределение ролей между участниками коммуникации остается стабильным, прерывание говорящего слушающим только мешает; единственной ожидаемой реакцией с его стороны является смех в ответ на остроу [5, с. 224–225].

Оба обязательных признака анекдота (комизм и острота) некоторым образом связаны со столкновением двух значений, смыслов, представлений, что позволяет комическим текстам попадать в поле зрения семантики. В условиях шутки происходит наложение (*Überlagerung*) одного содержания (смысла) на другое, одного высказывания на другое, создается напряжение между ними. При этом второй смысл вначале неизвестен; лишь к завершению анекдота адресат должен его раскрыть, чтобы понять суть и адекватно отреагировать [4, с. 314]. Двухзначность и столкновение смыслов, содержательная путаница и «семантическая турбулентность» вносят определенные сложности в процесс коммуникации. Здесь от коммуникантов требуются определенные знания и способности; производство (воспроизводство) анекдота и его понимание удаются не всегда.

Анекдот может часто воспроизводиться в речи (устно или письменно), в процессе устной или письменной передачи он становится достоянием общества, любой человек может свободно им воспользоваться. Вследствие такой доступности текст анекдота не полностью закрепляется в языке: рассказчик может варьировать его до определенной степени (украшать, удлинять и т. д.) [3, с. 18]. Однако существует некоторая структура, «идеальный текст», которого стоит придерживаться, чтобы успешно пошутить.

Структура анекдота, по мнению большинства исследователей, двучленна. Как уже указывалось, обязательным конституентом является *острота* — нечто формально постоянное, неизменяемое, которая в основном конституирует анекдот. Комизм не воспринимается как анекдот, если он «не заострен». Возможности остроты в анекдоте вытекают из знаковой функции языка. Это означает, что любая острота «играет открыто или скрыто отношениями между знаком и значением, содержательным потенциалом и спектром значений слов и предложений, связью между словами, словосочетаниями, предложениями и объектами, соотношением между языком и внеязыковыми коррелятами», возможностью реализации слов и предложений в различных контекстах [2, с. 20–21].

Некоторые исследователи выделяют остроту в особый жанр: «минимальный речевой жанр комического». Как известно, речевой жанр представляет собой высказывание (или совокупность высказываний), характеризующееся определенным намерением (иллокутивной силой), избранной формой вербального воплощения (локуцией) и определенным воздействием на адресата (перлокутивный эффект). При реализации речевого жанра остроты «иллокутивная сила двупланова», в локуции представлено смещение, отражающее референт и утверждающее противоречивость объекта; перлокутивный эффект состоит в «адекватном восприятии коммуникативного намерения и следующим за ним очищением — катарсисом»; результат воздействия — «гамма эмоциональных реакций, ведущая из которых — смех». Референтом локуции является внеязыковая комическая ситуация. Посредством остроты она представляется вербально ориентированно: смещение относится к такому использованию языка, которое «отстоит от коллективных норм вербального воплощения действительности, принятых в обществе» [6].

Другой обязательной составляющей анекдота считается основание — первая подготовительная часть, введение в ситуацию (*Basis*, *Witzerzählung*) (Sanders, Röhrich).

Можно выделить следующие фазы функционирования анекдота: 1) привлечение внимания; 2) представление ситуации; 3) ее неожиданное разрешение.

В. Ульрих [4] утверждает, что анекдот образуют экспозиция (введение в ситуацию), разрушение (ломка) и острота. Тактику рас-

сказчика (1) данный автор сопоставляет с фазами психологического восприятия шутки адресатом (2):

1	Экспозиция		Разрушение		Острота	
2	Внимание	Ожидание	Удивление	Разочарование	Просветление	Удовлетворение

Внимание слушателя (читателя) привлекается краткой *экспозицией* (введением в ситуацию). Это, как правило, большая часть текста. Ожидание неожиданности определяет нашу установку, когда мы готовимся к восприятию анекдота. Далее следует *разрушение*, ломка, нарушение когерентности текста, если под когерентностью понимать содержательное вплетение элементов текста в общее содержание. Как отдельный элемент текста разрушение не выделяется, но лишь отмечает место в тексте, где два смысла накладываются друг на друга. Внезапно два комплекса высказываний — приведенный и имплицитный контекст — конкурируют друг с другом. Реципиент удивлен, поражен, немного разочарован, что его ожидания не оправдались, в этот момент становится ясно, понимает он анекдот или нет. Построение и разрушение ожидаемой схемы — это лишь основание анекдота, «фон остроты». Реципиент должен понять, что два несовместимых на первый взгляд содержания соединимы. Удивление и разочарование реципиента преодолеваются, когда он понимает остроту — происходит построение новой схемы. Слушатели (читатели), удовлетворенные удачным решением «задачи», получают эстетическое наслаждение от языкового построения, вероятно, злорадствуют по отношению к объекту анекдота и реагируют смехом или улыбкой [4, с.314]. Языковое наполнение и структура анекдота должны не только оправдать ожидание реципиента, но и сломать ожидаемую схему.

Согласно теории Б. Марфурта, одной из причин удовольствия от анекдота является радость из-за «удачной интерпретации, открытия второго (фонового) смысла». Тактика анекдота заключается в следующем: вначале «ввести слушателя в заблуждение», обозначив «якобы одну возможную интерпретацию», но тут же указать ему на то, что (и почему) данная интерпретация является неполной или вообще ложной, что имеются необходимые предпосылки и для других интерпретаций [7, с.80].

Анекдот как акт коммуникации разворачивается на разных уровнях.

Первый уровень представляет собой простую форму коммуникации, встречается в анекдотах описательного характера. Адресант (вос) производит анекдот и апеллирует к адресату, от которого ожидается понимание, принятие и соответствующая реакция:

Beamte werden neuerdings nicht mehr versetzt, sondern umgebettet.

Только первый уровень коммуникации представлен также в анекдотах, начинающихся с вопроса-апелляции, который привлекает внимание адресата и обещает неожиданный комический ответ:

Was ist paradox? — Wenn ein Oberkellner am Unterarm ein Überbein hat.

Между рассказчиком и слушающим (читателем) может возникнуть герой (фигура), через которого адресант «пропускает» анекдот. Такой фиктивной языковой личностью в следующем анекдоте является холостяк:

Ein Junggeselle seufzt: «Wenn ihr Frauen nur wäret wie die Sterne! Die kommen am Abend und verschwinden am Morgen.»

Коммуникация еще более усложняется, если появляется второй герой, в текст анекдота встраивается диалог между фигурами:

Ein Jesuit und ein evangelischer Pastor disputieren miteinander über die Vorzüge ihrer Bekenntnisse. Nach einiger Zeit sagt der Jesuit: „Lassen wir doch diesen unnützen Streit. Schließlich dienen wir doch beide demselben Herrn, Sie auf Ihre Art, und ich auf die Seine.“

В таком случае второй уровень коммуникации (внутренняя шутка) вплетен в первый (совокупный текст). Таким образом, анекдот представляет собой сложный коммуникативный акт, который часто направлен на обеспечение другого коммуникативного события.

Героем анекдота может быть и реальная, а не фиктивная личность, которой приписываются реальные или фиктивные качества и комические ситуации. Следующий анекдот построен на диалоге между К. Аденауэром его внуком:

Adenauer fragt einmal einen seiner vielen Enkel: „Was willst du denn einmal werden, wenn du groß bist?“ — „Ich will Bundeskanzler werden wie du, Opa!“ — „Aber wir brauchen doch keine zwei!“

В следующем тексте другой немецкий политик, Генрих Любке, представлен в ситуации, где высмеивается его мнимая или действительно имеющая место необразованность и интеллектуальная ограниченность. Этот «дефект» становится предметом комизма. При этом непосредственными участниками второго уровня коммуникации в тексте, являются Любке и Святой Пётр, которые, в свою очередь, упоминают имена ещё трёх известных людей (Г. фон Караяна, Л. ван Бетховена, П. Пикассо). Таким образом, количество прямых и косвенных участников «внутренней шутки» может варьироваться:

Lübke kommt in den Himmel, doch der heilige Petrus will ihn nicht hereinlassen. „Kennen Sie mich nicht? Ich bin Lübke!“ — „Das kann jeder sagen. Beweisen Sie das einmal!“ — „Wie soll ich das denn beweisen? Jeder sieht doch, dass ich Lübke bin.“ — „Nun, neulich war Herbert von Karajan hier, der hat sich auch ausgewiesen: in kürzester Zeit hat er mit den Engeln Beethovens Hymne an die Freude einstudiert. Oder gestern, da war Picasso hier...“ — „Entschuldigen Sie“, sagt Lübke, „wer ist Picasso?“ Daraufhin Petrus: „Sie können hereinkommen, Sie sind Lübke!“

Два приведённых выше текста могут быть примерами ситуативных анекдотов, когда в основе анекдота лежит комизм ситуации. Успех комического коммуникативного акта в таких случаях зависит от «правильной» подачи, а затем интерпретации той или иной комической ситуации. Большую роль могут играть фоновые знания, знакомство с реалиями, упоминаемыми в анекдоте, как в данном тексте.

Языковые анекдоты строятся за счет собственно языковых средств, и здесь на адресата, языковую личность, воспринимающую анекдот, как и на адресанта, который производит шутку, ложится дополнительная нагрузка. В таких анекдотах успех кодирования и декодирования текста напрямую зависит от уровня владения языком. Ярким воплощением творчества языковой личности при создании (восприятии) языкового анекдота можно считать различные случаи смысловой двуплановости знака, спровоцирован-

ной контекстом анекдота. Основным признаком языковых анекдотов, в отличие от ситуативных, является особый (образованный языковыми средствами, а не ситуацией) характер остроты.

«В языковых анекдотах, где острота заключена в слове, в определенных семантически важных местах следует приводить только определенную языковую форму, которая и порождает анекдот, в противном случае острота не сработает» [8, с. 19]. Речь идет о «порождении структур, имеющих более одной интерпретации», о создании множественности одной из сторон знака: формы или содержания [9, с. 5], как в данном примере:

*„Ein politischer Witz muß **sitzen**. Derjenige, der ihn macht, gelegentlich auch.“*

При воспроизводстве языкового анекдота адресанту достаточно владеть неким минимумом (остротой), но в этот минимум непременно входит информация о значениях и связях текстообразующей лексемы, ситуация и персонажи текста могут варьироваться. В нашем примере только глагол *sitzen* с возможностью актуализации в данном тексте двух значений «попадать в цель, сработать (о шутовском высказывании)» и «сидеть (в тюрьме)» способен «заострить» данный политический анекдот.

Языковой анекдот как акт коммуникации создает необходимые условия «для неожиданной смены семантических уровней»: реализуемое значение лексической единицы может недостаточно уточняться контекстом, что ведет к возможной актуализации другой семантической структуры в этом же контексте:

*Die jungen Leute müssen sehr sparen. Statt **Gänsebraten** steht zu Weihnachten nur ein falscher Hase auf dem Tisch. „Ein Weihnachten ohne **Gans** gab es bei uns zu Hause gar nicht“, mäckelt er. „Aber Liebling“, entgegnet sie, „dafür hast du doch mich.“*

Во введении мы имеем достаточное описание коммуникативной ситуации и коммуникантов. Однако реализация полисемии текстообразующей лексемы происходит как бы случайно: до последней реплики видна реализация одного семантического уровня, в центре которого лишь один лексико-семантический вариант. Реакция жены „dafür hast du doch mich“ показывает реципиенту на

первом уровне коммуникации возможность другой интерпретации лексемы *Gans*.

Так реализуется необходимый для комических актов коммуникации «момент неожиданности», «лингвистический процесс» смены семантических уровней (*Wechsel der semantischen Ebenen*). Искусство коммуникантов в условиях языкового анекдота заключается в том, чтобы «вскрыть лексическую неоднозначность, имеющуюся в языке, но скрытую в обычных условиях, и одновременно ее сохранить при помощи соответствующей двусмысленной формулировки контекста» [5, с. 217].

Фактор языковой личности определенным образом проявляется в языковых анекдотах. Наше исследование подтвердило известную мысль академика В. В. Виноградова о присутствии в сознании языковой личности всей семантической структуры лексической единицы. Категориальные связи и отношения лексических единиц так же как связи между значениями одной лексемы «по первому поводу» (в зависимости от особенностей акта коммуникации) «всплывают на поверхность» и определяют коммуникативно релевантную актуализацию лексической единицы.

В зависимости от своего языкового опыта и языковой компетенции языковая личность имеет в сознании определенный языковой потенциал (значения слов, систему связей и отношений между лексическими единицами), который способен активизироваться только в речи, в конкретных актах коммуникации.

Создавая анекдот, языковая личность (адресант) использует языковой потенциал, при этом другая языковая личность (адресат) предположительно владеет таким же арсеналом языковых средств (семантическим, категориальным и т. д.). Важно и то, что оба основных участника коммуникации имеют достаточные экстралингвистические сведения (знания о типичных персонажах текстов данных типов, особенностях коммуникативной ситуации и т. п.). Это непереносимое условие реализации коммуникации, именно поэтому понимание юмора того или иного иностранного языка свидетельствует о высоком уровне владения языком.

Литература

1. *Человеческий фактор* в языке: Языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 1991.
2. *Preisendanz W.* Über den Witz. Konstanz: Universitätsverlag, 1970.
3. *Schiewe A., Schiewe J.* Witzkultur in der DDR: ein Beitrag zur Sprachkritik. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2000.
4. *Ulrich W.* Semantische Turbulenzen. Welche Kommunikationsformen kennzeichnen den Witz? // *Deutsche Sprache*. 1977. H. 4. S. 313–334.
5. *Sanders W.* Wortspiel und Witz, linguistisch betrachtet // *Gedenkschrift für J. Trier / Hrsg. H. Beckers und H. Schwarz*. Köln, Wien: O.V. 1975. S. 211–228.
6. *Чубарян Т. Ю.* Острота как речевой жанр // *Проблемы поэтического языка. Конф. мол. ученых: Тез. докл. Т. 1. Общее и русское стиховедение*. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 59–61.
7. *Marfurt B.* Textsorte Witz. Möglichkeiten einer sprachwissenschaftlichen Textsorten-Bestimmung. Tübingen: Max Niemeyer, 1977.
8. *Macha J.* Sprache und Witz. Die komische Kraft der Wörter. Bonn: Dummler, 1992.
9. *Гридина Т. А.* Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург: Урал. гос. педаг. ун-т., 1996.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА — АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СУБЪЕКТА РЕЧИ

Л. Ф. Бирр-Цуркан

КОНТАКТОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА В ШВАНКАХ ГАНСА САКСА

Как известно, шванк (нем. Schwank) — это короткий комический рассказ в стихах или прозе, особый жанр немецкой литературы средневековья и эпохи Возрождения. Отражая воззрения горожан, шванк, далёкий от куртуазной идеализации, изображает жизнь различных сословий главным образом с её комической стороны. Его излюбленными героями являются ловкие, смыслёные, зачастую грубоватые простолюдины. Ганс Сакс является одним из ярких представителей этого жанра. Сакс был плодовитым поэтом: в стихотворном каталоге, который он составил на пришествие 1567 года, значилось 4275 мейстерзангов, написанных на 275 мелодий, 1700 повествовательных стихотворных произведений (историй, басен, фарсов) и 208 драматических поэм, включая трагедии, комедии и масленичные сценки, — всего более 6000 произведений.

В настоящей статье предметом анализа являются контактоустанавливающие средства в шванках Сакса.

О контактоустанавливающей функции говорил еще Р.О. Якобсон. Исходя из трехчастной структуры акта речи (говорящий, слушающий и предмет сообщения) и постулируя наличие в акте речи контакта (канала связи), кода и сообщения, он выделяет шесть функций языка — экспрессивную (выражения), конативную (усвоения), референтную (коммуникации), метаязыковую, поэтическую и фатическую (контактоустанавливающую) [7].

Контактоустанавливающая функция обслуживается высказываниями, направленными на завязывание, поддержание и прекращение коммуникации, т.е. на обеспечение успешного протекания всех трех фаз речевого общения, выделяемых в речевом акте, — установление речевого контакта, поддержание речевого контакта и его размыкание.

Установление речевого контакта. Сообщение, переданное внезапно, без привлечения внимания собеседника, может оказаться не воспринятым адресатом или воспринятым ущербно. Дабы избежать подобной ситуации и «подготовить почву» для передачи информации, говорящий устанавливает речевой контакт, используя определенные языковые средства.

Поддержание речевого контакта. В ходе передачи сообщения говорящий может проверять наличие контакта, так или иначе дополнительно поддерживать внимание собеседника, используя соответствующие языковые средства.

Размыкание речевого контакта. По достижению своих целей собеседники завершают речевой акт. Корректное размыкание речевого контакта обеспечивает возможность возобновления его через какой-то промежуток времени. Отсутствие данной фазы общения нарушает этикетные нормы.

Средства языка разных уровней, реализующие контактоустанавливающую функцию, называются контактоустанавливающими языковыми средствами. К таким средствам можно отнести обращения, императивные формы, единицы речевого этикета и контактоустанавливающие междометия.

Роль *обращения как контактоустанавливающего языкового средства* не вызывает сомнения. В. Е. Гольдин трактует обращение следующим образом: «Обращение — одно из главных средств универсального характера, выработанных языком для обслуживания речевого общения, для установления связи между высказываниями и субъектами общения, для интеграции разных сторон и компонентов ситуации общения в единый коммуникативный акт» [1, с. 4]. По Н. И. Формановской, «для того чтобы направить кому-нибудь слова, адресоваться к кому-либо, его необходимо назвать — употребить ту номинацию, которая, с точки зрения адресанта, наиболее соответствует социальному статусу и роли адресата» [5, с. 62]. На это же обращает внимание и Л. В. Гущина, при этом еще и подчеркивая значимость роли говорящего: «Та или иная форма обращения выбирается говорящим на основе его пресуппозиции, включающей в себя как знания общего характера (языковой код, нормы этикета), присущие всей социальной группе или обществу, так и индивидуальный опыт и оценку ситуации общения, ролей и статусов коммуникантов, степень близости их отношений,

личностные характеристики адресата, самооценку образа “Я”» [2, с. 3].

Обращение включается в функционально-семантическую категорию речевого контакта, которая состоит из нескольких взаимосвязанных субкатегорий. Две из них — категория организации направленности речи и категория социальной регуляции общения. Категория речевого контакта организована по принципу поля, причем в его центре находится обращение, а периферию покрывают другие средства речевого контакта. Вместе с обращением они образуют открытое множество коммуникативных элементов.

Первое назначение обращения — назвать адресата. Но в соответствии с мотивом и целью такую номинацию следует сопровождать апеллативно-вокативной функцией, т. е. не просто назвать, но и в то же время позвать адресата. Таким образом, обращение является носителем двух функций, реализующихся совместно — апеллативной и оценочно-характеризующей, или иначе, оно выражает призыв и одновременно отношение говорящего к адресату речи.

В шванках Ганса Сакса обращение является основным средством установления контакта между собеседниками.

Обычно обращение оформляется именительным падежом существительного, обозначающего лицо, к которому обращаются с речью, или любой равнозначной ему словоформой в сочетании с особой звательной интонацией. Зачастую обращение сопровождается вкативным междометием «О!»; например:

O lieber gfell, ich bin lebendig ynn der hell. (УК, шванк № 7)

Uus was ursach, o ir armen, müest ir mit solcher ungestüem

Peu nechtlicher weil faren üen? (УК, шванк № 51)

O Jüngling, fleüch! (УК, шванк № 6)

O zarte Jundfraw schön, ich bin yetz darauff nit bedacht. (ПК, шванк № 1)

O drawt gefelle mein, es ift nit lauter küechlein zeffen. (ПК, шванк № 70)

В настоящее время различают свободные и несвободные обращения, в зависимости от их позиции в тексте, в который они включены [3, с. 133].

Свободные обращения либо представляют собой обращения-предложения, либо включаются в состав предложения и занимают

в нем первое место. Несвободные обращения находятся или в интер-, или в постпозиции, т.е. включаются в состав предложения. Как отмечает Н. И. Формановская, свободное обращение, реализуя контактоустанавливающую функцию, актуализирует, будучи призывом собеседника, апеллятивно-вокативную функцию. Несвободное обращение (интерпозитивное, постпозитивное), естественно, не может в полной мере выполнять функцию привлечения внимания, поскольку оно (внимание) уже привлечено, и беседа идет [4, с.84].

Из 103 примеров употребления обращений в исследованных шванках 74 случая приходится на свободные обращения. Для обозначения функций обращений здесь и далее используются следующие сокращения: УК — установление контакта, ПК — поддержание контакта, РК — размыкание контакта. В ходе анализа шванков обращения-предложения встретились только четыре раза, три из них имели место при установлении речевого контакта, а одно — на стадии поддержания речевого контакта:

O du vernaschter unflat! (УК, шванк № 19)

Mein Herr der lies mich henden. (УК, шванк № 64)

Dw schald, dw hüren jeger und eprecher! (УК, шванк № 54)

Du unuerfchembter pald, du gelber! (ПК, шванк № 8)

Свободные обращения, включенные в состав предложения, наиболее типичны для шванков Ганса Сакса. Например:

Zart fraw, euch ich erwelet han für alle Weiber hie auff erd. (УК, шванк № 18)

Jünderlein, wie bist so blindt, Bey weisen Leuthen gar ein Kind! (УК, шванк № 18)

Mein gfell, merd, was ich sag! (ПК, шванк № 54)

Zart Jundfraw, ir foldt dis alles gar nit sehen an. (ПК, шванк № 25)

Что касается несвободных обращений, на стадии установления контакта было выявлено 3 случая такого употребления, а при подержании контакта — 8 случаев. Например:

Uus was ursach, o ir armen, müest ir mit solcher ungestüem

Peu nechtlicher weil faren üen? (УК, шванк № 51)

Ulso muß ich, ir lieben frawen, in meynem jungen blut verdeben. (ПК, шванк № 9)

Hiebey fecht an, ir jungen Mayd! (УК, шванк № 27)

Und dir vor engften machen heiß, du alte falsche kuplerin! (ПК, шванк № 8)

Особо следует выделить те случаи, в которых с чисто формальной точки зрения обращение стоит в интер- или постпозиции, но при этом перед ним фигурируют императивные конструкции, которые тоже являются контактными средством. Причем такие случаи встречаются и на стадии установления, и на стадии поддержания речевого контакта:

Sag an, mein freundt, was dir geprist, das du so dür und mager bist? (УК, Шванк № 5)

fchaw, mein gesell, so halt ich hauß... (ПК, шванк № 7)

fchaw zu, du frecher! (УК, шванк № 65)

Hört zu, du alten schelln! (ПК, шванк № 8)

Всего в изученных шванках встретилось 13 примеров такого употребления обращений: 7 на стадии установления речевого контакта, 6 — на стадии поддержания контакта.

Наконец, особо следует обратить внимание на случаи установления контакта не между участниками действия шванков, а между их автором и читателем — явление, весьма распространенное в литературных памятниках средневековья. При этом автор может обращаться как к одному читателю — некоему собирательному образу, так и к группе лиц. В исследованных шванках Сакса встретилось три подобных случая, при этом во всех случаях адресатом является та или иная общность людей:

Hört zu, Florenz, ein Ritter sas, der ein fer güeter waidman was, degleich mit federspiel umbging. (УК, Шванк № 64)

Schwat uns an, beide fraw und mann, was ich für einen Narren han, un dem hilfft weder zucht noch ftraff. (УК, Шванк № 45)

Ihr liben gefellen, rathet zu, wie man nür diefen dingen thu! (УК, Шванк № 5)

Побудительные высказывания могут выступать в качестве особого типа контактоустанавливающих средств. Формы повелительного наклонения не всегда содержат в себе значение побуждения к какому-либо действию. При установлении контакта повелительное наклонение глагола зачастую утрачивает свою пер-

воначальную функцию побуждения и становится всего лишь средством привлечения внимания собеседника. Безусловно, не любая императивная форма является контактнм средством, служащим для привлечения и удержания внимания собеседника. Является ли данный императив контактнм средством или нет, определяется семантикой глагола.

Как показывает изученный нами материал, средствами установления и поддержания речевого контакта являются императивы от глаголов с семантикой: 1) речевой деятельности, направленные на получение от адресата какой-то информации; 2) слухового восприятия, направленные на привлечение внимания адресата к тому, что говорит адресант; 3) зрительного восприятия, направленные на привлечение внимания адресата; 4) глаголы или обороты, призывающие собеседника к тишине, направленные на привлечение внимания адресата.

В качестве глагола речевой семантики превалирует глагол «fagen» (всего 19 примеров):

Sag doch mir! (УК, шванк № 14)

Vons gaffn tancz wegen schmecht ir mich zwu,

sag mir, wo hast die schancz den überfehen dw? (УК, шванк № 28)

Sag her, und bift du ehren frumb? (ПК, шванк № 8)

Sag, was ein jar du mit deim paiffen mayft erobern. (ПК, шванк № 6)

Кроме того, в проанализированных шванках зафиксировано одиночное употребление глагола «erzelen»:

Erzel mir, was kost dich ein jar zuhalten das? (УК, шванк № 6)

Если императивы от глаголов с семантикой речевой деятельности встречаются чаще на стадии поддержания речевого контакта (7 примеров УК к 13 примерам ПК), то императивы от глаголов с семантикой слухового восприятия, наоборот, преобладают именно на стадии установления речевого контакта (9 примеров УК к 6 примерам ПК). Причем во всех случаях фигурирует глагол «hören» или его производные:

Hört, ir lieben gfpiln, wir thetten her einander ziln,

ide ir kunft frey zu bewern und eine von der andern lern. (УК, шванк № 13)

Uch liebe Gred, fo hör mir zu! (УК, шванк № 29)

Hört, gfater ir, macht euch palt auff, ir müft mit mir! (ПК, шванк № 99)

Hört zu, du alten fchelln! (ПК, шванк № 8)

Побудительные конструкции с глаголами зрительного восприятия в роли контактных средств иллюстрируют 18 примеров их употребления, в том числе 8 примеров на стадии установления речевого контакта и 10 примеров при поддержании контакта. Это императивные формы от глаголов «fchawen» и его производных (14 примеров) и «fehen» и его производных (4 примера):

Schaw an, dw frecher! (УК, шванк № 65)

Schaw, ich hab ein Junge, die frey daher geht
in dem fprunge und an der farb kein mangel hat. (УК, шванк № 35)

Schaw an, wie did bift du in feiten! (ПК, шванк № 8)

Schaw zu! (ПК, шванк №18)

Lieber Nachpawr, fecht! (УК, шванк № 40)

Hiebey fecht an, ir jungen Mayd! (УК, шванк № 27)

Secht! (ПК, шванк № 25)

Mein maifter Hans, fecht an, habt ir nit aüch ein pider weib
uuferwelet vür ewren leib, die eüch kein args noch fawres thüet,
fünder nür alles fües und güet? (ПК, шванк № 70)

Высказывания, призывающие собеседника к тишине, можно также считать средствами установления и поддержания контакта между собеседниками. Непосредственно за ними следует собственно сообщение, прежде чем передавать собеседнику информацию, нужно «подготовить» почву, в частности, сделать так, чтобы собеседник завершил свое высказывание и оказался готов к восприятию новой информации. Обращаясь к собеседнику с просьбой соблюдать тишину, автор сообщения создает необходимые условия для того, чтобы его сообщение было воспринято без потерь. Таким образом, императивные формы в приведенных ниже примерах можно считать контактоустанавливающими средствами:

Nun fchweig und hört! (УК, шванк № 32)

Du junge jernas, halt dein maul! (ПК, шванк № 8)

Mein Jundfraw, feyt fstill! (ПК, шванк № 25)

Schweig fstill, du fad! (ПК, шванк № 8)

Во всех приведенных примерах использования императивных форм можно говорить о некоторой десемантизации глаголов. Строго говоря, с семантической точки зрения, не имеет особого значения выбор между глаголами «fchawen» и «fehen», с одной стороны, и «hören» — с другой. Во всех случаях главным является обеспечение внимательного восприятия речи собеседника.

Контактоустанавливающие императивы используются и для привлечения внимания слушателей (читателей) самим автором, рассказчиком. Таков уже приводимый нами пример из шванка № 64, где императивная форма соседствует с обращением «Florenz». Выбор глагола «hören» здесь неудивителен, ведь шванки предназначались для устного исполнения. В следующем примере глагол «hören» употреблен вместе с глаголом «fchweigen»:

Nun fchweigt und hört! (УК, шванк №32)

В современном языке едва ли не самыми распространенными *средствами установления контакта между собеседниками являются единицы речевого этикета*. Н. И. Формановская выделяет единицы речевого этикета в отдельный класс речевых актов — контактивов, т. е. средств, предназначенных для установления и поддержания контакта между участниками акта коммуникации [6, с. 266]. Однако в исследованных шванках Ганса Сакса встретилось всего три этикетных выражения, причем все — на стадии установления речевого контакта:

Kaifer, dw fey gegrüeffet! (УК, шванк № 59)

Herr, ich mich fchüeldig gieb, ich hab ein pfaffen haimlich lieb,
der all nacht kümet in mein pet,
kain fchloß noch thüer im äuch vorftet. (УК, шванк № 74)

Jundher, ich hab an euch ein bitt,
(ich hoff, wert mirs verfagen nit),
ein fchamlot fchwartz zu eyner fchauben
und umb ein porten auff ein hauben,
weil ich mich ftät an euch thu halten. (УК, шванк № 18)

В первом примере при установлении контакта один из участников выбирает речевое действие «Приветствие», выраженное перформативным глаголом «grüeßen» (приветствовать).

Во втором примере — «ich mich schüldig gieb» — используется перформативный глагол «извиняться». Причем здесь эта фраза употребляется не для получения прощения со стороны собеседника, а лишь для привлечения его внимания, установления с ним контакта.

В третьем примере мы имеем дело с речевым действием «Просьба», которое выражается предложением «ich hab an euch ein bitt». Предваряя собственно просьбу этим высказыванием, героиня привлекает внимание собеседника.

Единицы речевого этикета — единственные из контактных средств, фигурирующих в шванках Ганса Сакса, использованных для размыкания контакта. Следуя логике построения речевого акта, такими средствами могут быть формулы прощения или пожелания при прощании. Так, в шванке № 7 „Das pos weib“ („Das böse Weib“), один из собеседников, завершив свою речь, подает другому руку:

Mit dem pot mir der man fein hendt, zehrent er urlaub nam von mir.

Как видно из примера, в словах автора дополнительно маркируется факт размыкания речевого контакта («er urlaub nam von mir» — «он попрощался со мной»). Затем рассказчик прощается с героем и произносит:

Far hin! Gott sey mit dir!

Таким образом, в данной ситуации присутствует рукопожатие как невербальный способ прощания и вербальный компонент — единица речевого этикета — формула-прощание „Gott sey mit dir!“.

Следующая ситуация размыкания речевого контакта встрети-лась в шванке № 19 „Das untrew spil“ („Das Untreu-Spiel“). Здесь рас-сказчик произносит следующую фразу:

Ulde, ich fahr da hin; der untrew ich berichtet bin,
die mich hat umb mein geltlich bracht.
Zart fraw, zu tausend guter nacht!

Ситуация прощания маркируется употреблением фразы «ich fahr da hin» («я поеду прочь»), а затем наряду с обращением исполь-зуется единица речевого этикета — формула-прощание «zu tausend guter nacht!»

Наконец, размыкание контакта с помощью единиц речевого этикета может осуществляться и между автором (рассказчиком) и читателем (слушателем). Такова ситуация в шванке № 40 „Schand: Die faul haufmaid“ („Die faule Hausmagd“). Формула «schaw für dich» также типична для размыкания речевого контакта в целом и употребляется при прощании. Кроме того, следует отметить, что это предложение — последнее в шванке, что неудивительно, ведь в этом случае с читателями прощается сам автор.

Итак, в шванках Ганса Сакса в качестве контактоустанавливающих языковых средств употребляются обращения, причем это наиболее частотное контактоустанавливающее средство, побудительные высказывания определенной семантики и единицы речевого этикета. Ситуации размыкания контакта представлены эпизодически и обслуживаются исключительно единицами речевого этикета. Установление, поддержание и размыкание контакта осуществляется как в речи участников диалогов, отраженных в шванках, так и между автором (рассказчиком) и читателем (слушателем), что является характерной чертой литературы средневековья.

Литература

1. *Гольдин В. Е.* Обращение: теоретические проблемы. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1987.
2. *Гущина Л. В.* Фатическая функция обращения в диалогической речи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2006.
3. *Формановская Н. И.* Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. М.: Изд-во Ин-та рус. языка, 1998.
4. *Формановская Н. И.* Обращение с точки зрения коммуникативно-прагматического подхода // Речевое общение (Теоретические и прикладные аспекты речевого общения): Специализированный вестник. Вып. 11. Красноярск: Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 2000. С. 83–88.
5. *Формановская Н. И.* Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М.: КомКнига, 2006.
6. *Формановская Н. И.* Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М.: Икар, 2007.
7. *Якобсон Р. О.* Лингвистика и поэтика. // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. URL: <http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm>

**РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ МАНИПУЛЯЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТОВ)**

Манипуляция является стратегией ориентации на свои собственные интересы при пренебрежении интересами партнера и его позиций. Коммуникант с такой стратегией поведения ставит своего партнера на нижнюю по сравнению с собой статусную позицию. Доминирующая установка в речевом поведении такой стратегии — навязывание своего мнения, преувеличение своей авторитетности [1, с. 77].

Манипуляция изучается различными дисциплинами: психологией, социологией, лингвистикой, и рассматривается как «воздействие на человека с целью побудить его сделать что-либо (сообщить информацию, совершить поступок, изменить своё поведение) неосознанно или вопреки его собственному желанию, мнению, намерению» [6, с. 72].

Языковое манипулирование — это использование особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении. Правила построения публичной речи в значительной степени отражают механизмы политического манипулирования. Языковые правила часто приобретают сознательно установленный, умело навязываемый характер [8, с. 30].

В политической коммуникации манипуляция часто используется и в качестве стратегии как специфическая установка на общение (тогда манипулятивная тактика реализует манипулятивную стратегию), и в качестве приема как ситуативное и косвенное средство воздействия (тогда это манипулятивная тактика используется при реализации других стратегий). Для достижения конкретной цели манипулятор организует эту тактику, включенную в подготовку и проведение основного воздействия (например, при использовании стратегии самопрезентации или информационно-интерпретационной стратегии).

Е. И. Шейгал пишет о двух видах манипулирования: аргументативном (нарушение логики развития текста, уклонение от обязан-

ности доказывания, маскировка логических ходов) и референциальном (искажение образа денотата) [7, с. 19].

Так отмечает Е. В. Рублева, манипулятивные речевые акты могут служить показателями отношений социального неравенства и субординации коммуникантов, причем их использование варьируется в зависимости от иерархических позиций участников интеракции [5, с. 11]. Е. С. Попова отмечает, что важной чертой манипулятивной стратегии является активность адресанта и пассивность адресата: адресату предлагается «готовый и словесно оформленный продукт размышления, а сам он никаких самостоятельных умственных усилий не прилагает» [4, с. 276]. Нам представляется, что существуют способы манипуляции, предполагающие активную мыслительную деятельность адресата в определенном русле, при этом выводы, к которым должен прийти адресат, заранее определены говорящим.

В устном речевом поведении политиков используются разные манипулятивные тактики: тактика гиперболизации, тактика компротации, приемы подтасовки фактов, уклонения от ответа, «поспешного» обобщения и т. п. [3, с. 12].

Е. С. Попова выделяет отдельные универсальные манипулятивные тактики:

а) тактику переакцентуации — «выдвижения, акцентуации второстепенных, «посторонних» фактов, которые должны сыграть основную роль в формировании нужного восприятия»;

б) тактику подмены целей — «выдвижения на первый план интересов адресата, намерения адресанта остаются за рамками текста»;

в) тактику надевания маски — надевая маску информатора, собеседника, советчика, эмоционального лидера, наставника или трибуна, адресант «переводит ситуацию в другую плоскость» (например дружеское общение);

г) тактику трансформации ситуации — манипулятивного изменения / камуфлирования ситуации;

д) тактику игры мотивом — апелляции к потребностям адресата, выдвижения смыслообразующего мотива [4, с. 276–288].

И. И. Гулакова пишет, что стратегию манипуляции реализуют следующие коммуникативные тактики: упрек, угроза, возмущение, отказ, прерывание собеседника и др. [1, с. 78].

Доминирующая установка в речевом поведении стратегии манипуляции — навязывание своего мнения, преувеличение своей авторитетности. Основной тактикой является тактика побуждения. Если рассматривать побудительность как функционально-семантическое поле, то доминантой поля побуждения является императив. Вокруг доминанты образуется ядро, в которое входят следующие конститuenty: презенс индикатива, футурум индикатива, модальные глаголы + инфинитив и другие устойчивые словосочетания с грамматической направленностью. На периферии находятся причастие II, псевдопридаточные предложения с *dass*, субстантивные и наречные предложения, междометные предложения, презенс конъюнктива [2, с. 92–93].

Рассмотрим примеры:

- 1) *Dr. Rainer Stinner (FDP): Sorgen Sie dafür, dass Deutschland seinen Verpflichtungen nachkommt! Sorgen Sie dafür, dass die Piraterie endlich bekämpft wird!* [3]

Императив *Sorgen Sie* усиливается повтором; при этом первое и второе предложения приравниваются по смыслу друг к другу, т. е. решение проблемы пиратства представляется как выполнение Германией своих обязательств.

Эффект повышенной экспрессивности достигается и при использовании разных глаголов в повелительном наклонении при синтаксическом параллелизме, см. пример 2):

- 2) *Ulla Lötzer (DIE LINKE): Nutzen Sie die letzte Chance heute! Legen Sie Ihren Entwurf an die Seite! Stimmen Sie unserem Antrag zu!* [5]

В примере 2) помимо синтаксического параллелизма следует обратить внимание на антитезу *Ihr Entwurf — unser Antrag*.

- 3) *Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich hätte mir gewünscht, lieber Herr Bundesaußenminister, dass Sie hier mehr Mut bewiesen hätten. Schauen Sie der Realität ins Auge! Sagen Sie: Der OEF-Einsatz ist in dieser Form überflüssig. Wir brauchen diese Fregatte aber dort, wo es notwendig ist, und zwar zur Bekämpfung der Piraten. — Unterstellen Sie diesen Einsatz komplett diesem Mandat der Vereinten Nationen und der EU, und hören Sie mit Ihrem Herumeiern, was Sie mit dem Mandat vorhaben, und mit Ihrem permanenten Aus- und Einflaggen auf!* [4]

В примере 3) синтаксический параллелизм, представляющий собой четыре глагола в повелительном наклонении, также является основным средством выражения манипуляции, но при этом не единственным. Фамильярное обращение *lieber Herr Bundesaußenminister* говорит о том, что оратор позиционирует себя выше, чем своего противника, несмотря на высокий статус последнего. Лексемы с модальным значением *brauchen* и *notwendig* выражают требование. Также следует отметить насмешливое обвинение противника в недостатке мужества и неуверенных, непоследовательных действиях, выраженное с помощью лексем с пейоративным значением *Herumeiern*, *Aus- und Einflaggen*, а также прилагательного с семой тотальности *permanent*.

Представляется возможным выделить синтаксические структуры, особенно часто употребляемые в рамках стратегии манипуляции. Это, в первую очередь, предложения с причинно-следственной связью. Такие синтаксические структуры побуждают слушающего к тому, чтобы внимательно следить за ходом мысли говорящего и мысленно повторять его. Формальное выражение причинно-следственной связи при этом может быть выражено ясно и логично, но смысловая наполненность фразы может быть субъективной: говорящий может приходить к выводам, которые вовсе не следуют из имеющихся предпосылок, выдавая их за единственно возможные.

- 4) *Manfred Grund (CDU/CSU): Nur wer ein klares Bekenntnis zur europäischen Perspektive der Republik Moldau abgibt, wer bereit ist, die Zusammenarbeit zu intensivieren und die Integration voranzubringen, der kann erwarten, mit seiner Kritik als Partner ernst genommen zu werden und eine konstruktive Rolle zu spielen* [3].

В примере 4) манипуляция осуществляется благодаря употреблению сложных предложений с относительными придаточными-подлежащими. Употребление лексем с позитивными коннотациями служит усилению воздействия — *Zusammenarbeit*, *Integration*, *Partner*, *konstruktive Rolle*.

- 5) *Birgit Homburger (FDP): Es kann auf Dauer nicht richtig sein, dass der Piraterie verdächtige Personen unter verschiedenem Recht abgeurteilt werden und diese versuchen, sich auszusuchen, von wem sie aufge-*

griffen werden. Das kann nicht das Ziel sein. Deshalb müssen Sie hier tätig werden [4].

В примере 5) побуждение к действию выражено с помощью негативного описания ситуации и предложения со следственной связью. Употребление глагола *müssen* с местоимением *Sie* предполагает сильное побуждение, почти приказ, что смягчается предварительным описанием порядка вещей.

Для стратегии манипуляции типично употребление условных предложений с союзом *wenn* в сочетании с проекцией на будущее. Интересно, что политик в таком случае дает не несколько альтернативных вариантов, а только один вариант, часто используя для усиления гиперболу, литоту, лексемы с семой тотальности и другие экспрессивные средства.

- 6) *Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wenn Sie mit dieser Politik des **Durchwurstelns** so weitermachen, werden Sie am Ende genau da landen, wo die Linkspartei schon heute ist, nämlich in einem **kopflosten Abzug**, weil Sie die notwendigen Anforderungen für den zivilen Aufbau und für den Polizeiaufbau nicht auf die Reihe bekommen haben. **Deswegen** muss Schluss sein mit diesem **Durchwursteln**; denn das führt ins **Chaos**, auch in Afghanistan* [6].

В примере 6) оратор представляет негативный вариант развития событий как единственно возможный, усиливая драматичность лексемами *Durchwursteln* (в повторе), *kopfloster Abzug*, *Chaos*. Небольшой отрезок текста насыщен союзами, выражающими причинно-следственную и условную связь: *wenn*, *weil*, *deswegen*.

- 7) *Birgit Homburger (FDP): Wir sehen Sie in der Pflicht, hier die Initiative zu ergreifen, damit insgesamt eine **Stabilisierung** der Region erreicht wird und hier **auf Dauer** eine **Lösung** geschaffen wird* [4].

В примере 8) политик использует типичную для стратегии манипуляции схему, предлагая свое решение: придаточное предложение с союзом *damit* в сочетании с лексикой с положительными коннотациями: *Stabilisierung*, *Lösung*, *auf Dauer*.

Среди лексических средств, типичных для стратегии манипуляции, необходимо в первую очередь отметить модальные глаголы *können*, *müssen*, *sollen* и *dürfen*.

- 8) *Erika Steinbach (CDU/CSU): Die deutsche Bundeskanzlerin muss nicht in China um Erlaubnis bitten, ehe sie sich mit jemandem trifft. — Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Es stellt sich nur die Frage, was politisch klug ist! **Das können Sie zwar nicht beurteilen; das ist aber trotzdem eine gute Frage** [3]!*

Открытое указание на некомпетентность оппонента является здесь средством выражения манипуляции, а не дискредитации, так как для дискредитации необходимо обоснование обвинения, а в примере 8) обвинение в некомпетентности достаточно голословно. Говорящий, очевидно, рассчитывает на поддержку аудитории и не боится ответного обвинения, кроме того, сразу после выражения обвинения он возвращается к теме обсуждения, не давая оппоненту возможности ответить.

Глагол *müssen* достаточно редко употребляется по отношению к политическому противнику, так как это было некорректно. Он используется с подлежащим *wir* или в безличных предложениях, см. пример 9):

- 9) *Birgit Homburger (FDP): Es **müssen** die Ursachen bekämpft werden* [4].

Глагол *sollen* также нередко употребляется с субъектом *wir*:

- 10) *Ernst Burgbacher (FDP): **Wir sollten** uns ... hüten, gewisse Punkte über die Hintertür in das Vergaberecht hineinzubringen. Ich denke dabei an den Mindestlohn, aber auch an Umweltaspekte. **Wir sollten** in diesem Hohen Hause Gesetze machen, die die Vergabe regeln, statt dies mit allen damit verbundenen Problemen auf andere abzuschieben* [4].

Для осуществления стратегии манипуляции важную роль играет выбор лексики с определенными коннотациями.

- 11) *Lutz Heilmann (DIE LINKE): Nur eines hilft, nämlich der schnellstmögliche Ausstieg aus der Atomwirtschaft. Ich muss klipp und klar sagen: Der rot-grüne Atomkonsens ist keine Gewähr dafür. Er ist nicht mehr und nicht weniger als eine Bestandsgarantie für die **Schrottmeiler von Brunsbüttel bis Krümmel*** [5]

Слова с негативной семантикой оказывают несомненное влияние на слушающего: оратор употребляет экспрессивное существительное *Schrottmeiler*, а, называя атомные электростанции, говорящий выбирает их не по географическому расположению, как это

можно было бы предположить по предложениям *von... bis*, а намеренно упоминает названия тех атомных электростанций, которые получили наибольшую известность в прессе из-за большого количества несчастных случаев, сбоев и частых заболеваний местного населения.

Особенностью стратегии манипуляции является завуалированность средств воздействия на слушающего, сложные изменения в структуре высказывания, которые приводят к семантическим и когнитивным изменениям.

Одним из способов манипуляции является сведение сложной структуры к простой, навешивание «ярлыков» вместо анализа:

- 12) *Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Auf den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke möchte ich gar nicht näher eingehen. Ein **Beibehalten monopolistischer Strukturen** führt sicher ins politische und ökonomische Abseits und kann nicht allen Ernstes diskutiert werden [2].*

Вместо того чтобы говорить о достоинствах и недостатках резолюции «Левой» фракции, политик «ставит клеймо» на ней. Упрощение, сведение сложной структуры к простой служит средством манипуляции.

В других случаях говорящий использует частный случай для характеристики общей ситуации. В примере 13) оратор обвиняет своих политических оппонентов в непоследовательности, перенося поведение в одной ситуации на всю политику партии:

- 13) *Alexander Ulrich (DIE LINKE): Vor wenigen Monaten hat die SPD in Hamburg ein Grundsatzprogramm beschlossen, in dem steht, dass man für den **demokratischen Sozialismus** eintritt. Wer das in ein Programm schreibt, aber zu einer **neoliberalen** EU-Verfassung Ja sagt, begeht einmal mehr **Wortbruch**, in diesem Fall gegenüber der eigenen Partei. **Wortbruch wird zum Tagesgeschäft der SPD** [1].*

Манипулятивный перенос с одной ситуации на другую происходит и в примере 14):

- 14) *Kurt Bodewig (SPD): Sie von der Linken sagen Nein zu diesem Einsatz. Es ist nicht das erste Nein. Sie sagen Nein zu Europa. Sie sagen Nein zum Vertrag von Lissabon. Sie sollten einmal davon wegkommen, für Ihr jeweiliges Nein immer ein anderes Motiv anzugeben [4].*

Вместо того чтобы проанализировать ситуацию и рассмотреть все случаи, когда Левая партия выражала свой протест по отдельности, оратор вешает определенный ярлык на партию, говоря о том, что выражение протеста является самоцелью.

Еще одним способом манипуляции является приравнение друг другу разных явлений:

- 15) Paul Schäfer (Köln) (DIE LINKE): *Um es noch einmal klarzustellen: Piraten **müssen** bekämpft werden; **Piratenbekämpfung ist Kriminalitätsbekämpfung**. Wir haben seit 2001 bittere Erfahrungen gemacht und wissen, was passiert, wenn man ein **Kriminalitätsproblem, Terrorismus, zu einem Kriegsproblem umdefiniert** [4].*

Политическая речь — это область абстракций, где одно и то же событие или явление может быть преподнесено совершенно по-разному. Этим пользуется политик в примере 16), который критикует действия оппонента, используя лишь абстрактные высказывания, а не фактическую информацию: *Schutzrechte fallen lassen, Strafverfolgung unmöglich machen*. Верификативные вопросы, т. е. вопросы, целью которых является получение утверждения истинности или ложности их содержания, несут в себе сильный конфликтный потенциал.

- 16) Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): *Ich finde es richtig, dass ein Straftäter wie Herr Klein seiner Strafe zugeführt wird, wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft ihn mit verfassungsgemäßen Mitteln finden. **Stimmen Sie mir aber zu, dass Ihre letzten Ausführungen in der Konsequenz dazu führen, dass wir eigentlich alle verfahrensmäßigen Schutzrechte innerhalb der Strafprozessordnung fallen lassen könnten, weil sie dem Strafanspruch und der Strafverfolgung tendenziell immer in den Rücken fallen und dadurch eine vollständige und umfassende Strafverfolgung aller Straftäter unmöglich machen? Das ist Ausdruck des Rechtsstaats. Wollen Sie ihn wirklich abschaffen** [5]?*

Как и в примере 16), в примере 17) воздействие верификативных вопросов усиливается с помощью лексики с негативными коннотациями: *Terroranschlaggefahr* (с повтором).

- 17) Oskar Lafontaine (DIE LINKE): *Der Kampfeinsatz in Afghanistan, den die Bundeskanzlerin gerechtfertigt hat, erhöht die **Terroranschlaggefahr** in Deutschland. Ich frage hier für meine Fraktion: Ist*

es **Aufgabe der Bundesregierung**, durch ihr Handeln dafür Sorge zu tragen, dass sich die **Terroranschlagsgefahr in Deutschland** erhöht? [6].

Стратегия манипуляции реализуется с помощью различных речевых средств на всех языковых уровнях. Тактика побуждения выражена побудительными предложениями с глаголом в императиве, модальными глаголами *müssen u sollen*, прилагательными с модальным значением (*erforderlich, notwendig* и т. д.).

Тактика навязывания своего мнения представлена восклицательными предложениями, которые, как правило, перебивают речь оппонента, нарушенной причинно-следственной связью, лексемами с экспрессивными коннотациями.

Литература

1. Гулакова И. И. Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в конфликтной ситуации общения: дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2004.
2. Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М.: Просвещение, 1969.
3. Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Саратов, 2005.
4. Попова Е. С. Структура манипулятивного воздействия в рекламном тексте // Известия Уральск. гос. ун-та. № 24. Екатеринбург: Изд-во Уральск. гос. ун-та, 2002. С. 276–288.
5. Рублева Е. В. Лингвопрагматические аспекты политической теледискуссии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
6. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Изд-во Воронежск. гос. ун-та, 2001.
7. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2000.
8. Юдина Т. В. Стратификация немецкой общественно-политической речи. М.: Изд-во МГУ, 1993.

Список использованного языкового материала

- [1] — стенографический отчет немецкого Бундестага от 13 марта 2008 г.
- [2] — стенографический отчет немецкого Бундестага от 27 июня 2008 г.
- [3] — стенографический отчет немецкого Бундестага от 26 августа 2008 г.
- [4] — стенографический отчет немецкого Бундестага от 19 декабря 2008 г.
- [5] — стенографический отчет немецкого Бундестага от 21 января 2009 г.
- [6] — стенографический отчет немецкого Бундестага от 08 сентября 2009 г.

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТЕКСТАХ

Данная статья посвящена проблеме, лежащей на пересечении таких актуальных для современной лингвистики направлений, как типология текста, интенциональная классификация предложений, взаимоотношение между функцией текста и иллюкцией составляющих его предложений, а также обусловленность всех вышеперечисленных моментов антропоцентрическими факторами.

В качестве материала для анализа были выбраны потребительские тексты, что обусловлено той важной социальной ролью, которую они играют в современном обществе: эти тексты нацелены на решение проблем, вызванных практическими потребностями человека в том или ином социуме.

Цель статьи заключается в анализе особенностей выражения функции воздействия в таком типе потребительских текстов, как инструкции по применению, и в изучении формирования этой текстовой функции посредством предложений с побудительной интенцией. При этом основное внимание уделяется выявлению специфики средств выражения побудительной интенции в изучаемом типе текста и их внутренней дифференциации.

Проблема выделения потребительских текстов связана с более общей проблемой классификации текстов. Впервые понятие потребительский текст (*Gebrauchstext*) было введено немецким лингвистом Барбарой Зандиг в 1970-е годы [1] в противовес понятию художественный текст. Примерно такое же толкование данного понятия было предложено В. Г. Адмони [2]. Й. Швиталла совершенно справедливо попытался отграничить собственно потребительские тексты от научных. При этом он исходит из особенностей коммуникативной ситуации, целеустановки говорящего, общей тематики и специфики вербального оформления [3]. Особое внимание при этом он обращает на связь данного типа текста с повседневной жизнью человека. См. об этом подробнее [4].

Наряду с проблемой локализации потребительских текстов в общей типологии текстов возникает также проблема их внутренней дифференциации, которая не составляет труда для лю-

бого представителя соответствующего социума, но оказывается трудноразрешимой в лингвистическом плане. В словаре Duden упоминаются около 1650 наименований потребительских текстов. Количество их подвидов потенциально безгранично, потому что в процессе развития они дробятся, множатся и усложняются. Большую часть из потребительских текстов представляют так называемые «инструкции по использованию». При этом данный часто вынесенный в заголовочный комплекс термин имеет в немецком языке свыше 20 вариативных наименований. Среди них в качестве наиболее употребительных можно выделить *Gebrauchsanweisung* и *Bedienungsanleitung* [5].

Среди потребительских текстов типа «инструкции по использованию» в свою очередь могут быть выделены: инструкции к приборам и бытовым товарам; к лекарственным препаратам; инструкции по приготовлению различных блюд (кулинарные рецепты). В качестве критериев, которые положены в основу выделения этой подгруппы потребительских текстов, могут быть названы следующие: облигаторность письменной формы; закрепленность за товарами (ср. понятие так называемых «текстов-вкладышей»); определенная иерархическая структура взаимоотношений между коммуникантами, отличающимися разным уровнем компетенции; общность текстовых функций.

В качестве доминирующих текстовых функций для «инструкций по использованию» выступают информирующая и воздействующая. Причем последняя, на что указывает само их название «инструкция», может быть уточнена как инструктивная функция, в рамках которой намечается шкала от «ни к чему не обязывающего указания» до «обязательного предписания». Данная текстовая функция реализуется на уровне входящих в состав этих текстов предложений, в которых используются самые разнообразные средства выражения побудительности.

В качестве основы для описания анализируемых в статье средств выражения побудительности послужила классификация У. Штельцель [6], не слишком известная лингвистической общественности. В ходе исследования данная классификация была модифицирована и дополнена с учетом специфики использованного материала. Автор данной классификации выделил восемь типов реализации побудительности.

К 1-му типу У. Штельцель относит эксплицитно выраженное побуждение, содержащее в качестве иллокутивного индикатора перформативный глагол (*Ich bitte dich, dass du arbeitest*). Во 2-м и 3-м типах реализации побуждение тоже выражено через эксплицитные иллокутивные индикаторы. В качестве таковых служат (в 2-м типе) повелительное наклонение (*Arbeite!*), а в 3-м типе — формы, дополняющие императив, а именно, 3-е лицо единственного числа конъюнктива (*Er arbeite!*), 1-е лицо множественного числа инклюзивного императива (*Wollen wir arbeiten!*). Типы реализации с 4-го по 7-й содержат, по терминологии автора, вторичные иллокутивные индикаторы побудительности [6, с. 88]. Так, к 4-му типу относятся: а) инфинитив (*Arbeiten!*), б) причастия II (*Gearbeitet!*), в) придаточное предложение (*Dass du mir ja arbeitest!*), г) формы презенса (*Du arbeitest!*), д) формы футурума (*Du wirst arbeiten!*), е) пассив (*Es wird gearbeitet*). К 5-му типу реализации автор относит указание на ожидания автора, что адресат совершит описываемое действие (*Ich erwarte, dass du arbeitest*). К 6-му типу относятся такие виды реализации побудительности, где либо описываются способствующие этому условия, либо указывается на необходимость совершить действие, на положительную оценку действия или на его позитивные последствия (*Du must arbeiten; Es ist gut, wenn du arbeitest; Wenn du arbeitest, wirst du bald befördert*). В 7-м типе предусматривается способность или воля адресата к совершению действия (*Du kannst arbeiten*). Очевидно, что если во 2-м и 3-м типах реализации имеются в виду морфологические (первичные и вторичные) средства выражения побудительности, то в 1-м и с 5-го по 7-й типами реализации побудительного значения имеются в виду либо лексические, либо синтаксические средства. В 8-м типе речь идёт о сугубо косвенных, имплицитных побуждениях (в лингвистике их называют *указаниями* или *намёками* — по-английски *hints*). Их толкование в качестве побудительных возможно только с учетом соответствующего контекста или ситуации (*Es werden bald wieder Leute entlassen*).

В исследуемом материале были обнаружены четыре типа реализации побудительности с соответствующими типичными для них языковыми способами выражения данного значения:

1) эксплицитные средства выражения побудительности, представленные грамматическими формами, для которых данное значение является парадигматически первичным;

2) эксплицитные средства выражения побудительности, представленные грамматическими формами, для которых данное значение является вторичным и реализуемым в определенных синтагматических условиях;

3) эксплицитные средства выражения побудительности, представленные лексически с помощью модальных глаголов, значение которых в данном контексте может быть интерпретировано как побудительное;

4) косвенные средства выражения побудительности, имеющие имплицитный характер и описывающие ситуацию, благоприятствующую реализации интенции побуждения.

В основу их выделения были положены такие критерии как языковой уровень индикаторов побуждения, первичность или вторичность выражения побудительности, эксплицитность или имплицитность средств побуждения, вид и интенсивность иллокутивной силы.

1-й тип реализации побудительности представлен традиционными парадигматическими формами побудительных предложений. Побудительная функция реализуется в них с помощью морфологических иллокутивных индикаторов — глаголов в повелительном наклонении, преимущественно в вежливой форме императива. Например:

Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser. Geben Sie acht, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

В приведенном выше примере императивные предложения образуют цепочку, при этом категоричность соответствующей интенции подчеркивается использованием отрицательного наречия *niemals* и лексемой *achtgeben*. (Эта категоричность вполне объяснима, потому что без соблюдения этого условия описываемый в инструкции объект — чайник — выйдет из строя.)

Примеров, где побудительность выражена императивом второго лица единственного числа, немного:

Erfahre mehr von mir und klick dich rein auf: www.thalia.de.

Предпочтение этой формы в данном конкретном случае можно объяснить тем, что она адресована большой группе лиц, объединённых общностью интересов (отчасти это объясняется тра-

диями в Германии — ср., например, обращение к членам по партии — и спецификой канала связи — стиль общения в интернет-аудитории отличается большей демократичностью).

Следующий 2-й тип реализации побудительности не предусматривает наличия языковых индикаторов, парадигматически предназначенных для выражения этого значения. Но данные грамматические формы способны приобретать его под влиянием определенных синтагматических условий. Поэтому во многих грамматиках их причисляют к вторичным средствам выражения побудительности. К ним в исследуемом материале могут быть причислены: побудительные предложения, конститулируемые инфинитивом I; конструкцией *sein + zu + Infinitiv*; пассивными предложениями; 1-м лицом множественного числа. Их содержание в основном идентично предыдущему типу, но в подобных опосредованных средствах выражения побудительности используются вторичные иллюкутивные индикаторы побуждения.

Достаточно типичными для исследуемых типов текста являются односоставные предложения, конститулируемые так называемыми независимыми («невставленными») инфинитивами [7, с. 159] со значением императивности. Эти конструкции характеризуются грамматической неопределённостью в плане лица, числа, наклонения и времени. Инфинитив как наименее четкая глагольная форма (форма синтаксического покоя) часто используется в ситуациях или контекстах с уже заданной побудительной интенцией, как это имеет место в случаях с инструкциями. Использование инфинитива в таком случае ведёт к языковой экономии. Инфинитивные предложения связывают друг с другом указания на различные действия по схеме «X делать» [7, с. 160], но при этом они дополняются определениями, обстоятельствами или другими синтаксическими элементами. Например:

Zucker mit den Eiern schaumig rühren, dann Konfitüre und Mehl untermischen.

В приведенном выше примере используется цепочка бессоюзных инфинитивных предложений, распространенных дополнениями и обстоятельствами.

Конструкции *sein + zu + Infinitiv* также типичны для текстов инструкций:

Bei der Aufbewahrung von Brot in solchen häuslichen Minicontainern sind einige Regeln zu beachten.

Побудительная интенция этого предложения однозначно указывает на необходимость соблюдения определённых условий при использовании домашнего миниконтейнера, что дополнительно подчеркивается семантикой существительного *Regel*, глагола *beachten* и обстоятельством *bei der Aufbewahrung von Brot*.

Формы пассива в потребительских текстах используются в том случае, когда важно назвать объект и подчеркнуть само действие, в то время как обозначение агенса действия несущественно. Они, как и инфинитивные предложения, подчеркивают обезличенность изложения, объективность происходящих процессов и их независимость от адресанта. В корпусе собранных примеров такие пассивные предложения часто синтаксически осложнены наличием показателей, которые дают дополнительную информацию о характере свершаемого действия:

Deshalb wird zuerst in einem Vorteig aus Hefe, etwas Mehl, Flüssigkeit und wenig Zucker die Hefe «angelassen», dann werden erst die anderen Zutaten zugefügt.

Данный отрывок, взятый из кулинарного рецепта, о чем свидетельствует союз *deshalb*, связывающий данное предложение с предыдущим изложением, инструктирует реципиента не только о подлежащих выполнению действиях, но и об их последовательности. (Ср. аспектуальные показатели *zuerst, dann, erst*).

Нередко в качестве средств косвенного выражения побуждения выступают предложения с местоимением *wir*:

Wir umwickeln 3 Bonbons mit Wolle, bis sie einen kleinen Ball bilden.

Darauf malen wir uns ein Bild, das wir später auf die Wachsplatten übertragen.

Использование этого местоимения позволяет включить реципиента в число участников, совместно выполняющих определенные действия, и придаёт таким высказываниям как косвенно побудительный, так и одновременно доверительный оттенок. (Как известно, использование этого местоимения характерно для научной речи.) Использование подобных предложений в качестве

побудительных обусловлено, по-видимому, их ассоциацией с инклюзивным типом императива с *wir* (*Gehen wir ins Kino!*). Данный тип побудительных предложений особенно характерен для такой целевой группы как мужчины:

Nach dem Aufbacken nehmen wir die Pizza aus dem Ofen und kratzen die verkohlten Stellen mit dem Messer ab.

Da dies etwas länger dauert, brauchen wir nicht in der Küche zu warten. Wir gucken so lange Fernseher.

Конструкции с *wir* появляются там, где высказывания приобретают явно ироничный оттенок. Это помогает автору текста установить контакт с реципиентом и, возможно, вновь привлечь утраченное внимание.

3-й тип реализации побудительности представлен предложениями, содержащими не грамматические, а лексические средства выражения данного значения, к которым в первую очередь относятся модальные глаголы или глаголы, способные приобретать модальное значение, которые выступают в роли вторичных иллокутивных индикаторов. Так, модальный глагол *müssen* выражает в данном типе потребительских текстов рекомендацию, совет или предписание, которые необходимо учесть при выполнении действия:

Vor dem Massieren muss man sich unter der warmen Dusche abspülen.

Такое сочетание модального глагола с неопределённо-личным местоимением *man* настоятельно рекомендует каждому перед началом массажа (аспектуальный показатель *vor*) принять тёплый душ.

Глагол *dürfen* в текстах инструкций используется обычно средствами негации или ограничительными частицами и сочетается с неодушевлёнными существительными в функции подлежащего или объекта:

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Таким образом, этот модальный глагол используется для передачи запрета либо настоятельного совета/рекомендации не совершать указанные действия.

Модальный глагол *sollen* часто используется в конъюнктиве и выражает деликатную рекомендацию:

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.

Глагол *können* используется подобно другим модальным глаголам либо с неопределенно-личным местоимением *man*, либо в структурах с безличным инфинитивом, т.е. без обозначения субъекта действия, поэтому совет оказывается адресованным широкому кругу лиц (предлоги *ohne* и *mit* в сочетании с существительным «Tülle» оставляют читателю возможность выбора):

Ein Spritzbeutel kann ohne und mit Tülle benutzt werden.

Иногда альтернативный оттенок может быть подчеркнут условными придаточными предложениями:

Falls notwendig, können Sie zusätzlich zwei Tassen frisch bereiteten Arzneitee bereits früher im Verlauf des Abends einnehmen.

В целом данный индикатор побудительности выражает, как правило, мягкую рекомендацию, деликатную просьбу или ненавязчивый совет.

Модальный глагол *mögen*, имеющий значение волеизъявления, желательности обозначенного действия, часто выступает в исследуемом материале в значении «делать что-то с удовольствием»:

Wer mag, kann die dann erhaben herausstehende Stempelfläche noch mit einem feinen Innenmotiv versehen.

Поэтому адресат понимает это высказывание как дополнительное косвенное побуждение, адресованное тем, кто любит украшать созданное своими руками.

В 4-м типе реализации побудительности рассматриваются предложения, содержащие описание ситуаций, в целом благоприятствующих восприятию побудительной интенции, которая сама остается вербально не выраженной. Например, указание на положительную оценку предполагаемого действия или на позитивные последствия, которые повлечет за собой выполнение данного действия. В функции конкретных иллокутивных индикаторов здесь

выступают: предложения с положительной оценкой предполагаемого действия; предложения с аргументацией целесообразности совершения действия; условные предложения, отображающие то, что необходимо свершить для достижения успешного результата, обозначенного в тексте.

Так, например, в следующем ниже примере дается рекомендация по приготовлению печенья:

Mit Butter schmecken Plätzchen einfach unvergleichlich gut.

Использованное в предложении наречие *gut* с самой положительной оценки (дополнительно усиленной градуированным словом *unvergleichlich*) предстает перед реципиентом как цель, к которой надо стремиться, побуждая его, таким образом, к выполнению описываемого действия.

Наряду с оценкой для придания предложению значения побудительности может быть использована аргументация:

Die ideale Verpackung für zartes Gebäck ist immer noch die Blechdose, denn sie schützt vor fremden Aromen.

Данный пример интересен тем, что в нем имеются и аргумент (придаточное причины), и положительная оценка (*ideal*), которые усиливают действие друг друга, что косвенно побуждает читателя выбрать именно данный вид упаковки для выпечки.

К этому типу реализации могут быть также причислены лексические индикаторы с семами «это стоит сделать», «так принято делать», где побудительная интенция становится еще менее явной. Наличие и расшифровка (своего рода «улавливание») подобной имплицитной побудительности обусловлено, в том числе, ожиданиями реципиента, что ведет к тому, что он интерпретирует непобудительное вне данного контекста предложение как продолжение инструктирования:

Gute Messer sind nicht billig, doch es lohnt sich, auf Qualität zu achten.

Nicht angebracht ist diese Prozedur nach einem Herzinfarkt.

Der Marmorroller kommt dann einfach vor dem Auswellen eine Weile in den Kühlschrank.

Интенцию этих предложений можно трактовать как дополнение к инструктированию, а именно (в первом примере) как рекомен-

дацию. Во втором примере из-за наличия отрицательной приглагольной частицы *nicht* интенция приобретает более категоричный характер и прочитывается, скорее, как рекомендация со знаком «—», т. е. людям после инфаркта данная процедура не рекомендуется. В третьем примере в семном составе глагола отсутствует всякое указание на возможность побудительного иллокутивного прочтения. Однако встраивание этого предложения в перечень действий, которые необходимо произвести реципиенту, чтобы добиться соответствующего результата (приготовления соответствующего блюда), позволяет «уловить» данную интенцию. Отчасти это возможно благодаря элементам темпоральной семантики (существительному, наречию, предлогу), а также отглагольному существительному.

Наиболее характерными для исследованного материала оказались 2-й (синтагматические средства выражения побудительности) и 3-й (лексические средства выражения побудительности) типы реализации побудительности, причем последний количественно явно преобладает. Чаще всего выражения побудительности берут на себя модальные глаголы, выражающие возможность. Повидимому, это связано с особенностями данного типа текста. Как указывалось выше, он всегда сопровождает описываемый продукт, выступая в качестве необходимого приложения к нему, но данный постиллокутивный эффект может не состояться (т. е. потребитель может и не купить данный продукт). Поэтому соответствующая заложенная в этом типе текста интенция может не реализоваться. В силу этого побудительность носит в данном случае в основном рекомендательный характер.

Интересен также тот факт, что целый ряд выделенных У.Штельцель типов реализации в исследуемом материале вообще не встретился. Например, 1-й тип с перформативными глаголами или некоторые сугубо имплицитные средства выражения побуждения (8-й тип). Отсутствие средств этого типа реализации побудительности в потребительских текстах связано, видимо, с тем, что потребительские тексты, сопровождают соответствующие продукты и потому должны нести точную информацию, в том числе и интенциональную.

Проведенное исследование продемонстрировало также, что большинство составляющих данный тип текста предложений не-

сут в себе как эксплицитные, так и имплицитные индикаторы побудительности, что подтверждает правомерность выделения текстовой функции воздействия в качестве доминирующей.

Предпринятый в данной статье анализ дает все основания для продолжения изучения потребительских текстов в коммуникативно-прагматическом, в том числе и антропоцентрическом аспекте. Ведь в лингвистике до сих пор ещё не существует единого мнения ни об интенциональной классификации предложений, ни о понятии «потребительский текст», ни о его возможной дальнейшей внутренней коммуникативно-функциональной классификации.

Литература

1. *Sandig B.* Zur Differenzierung gebrauchssprachlicher Textsorten im Deutschen // Textsorten, Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. 2. Aufl. / Hrsg. von E. Gülich, W. Raible. Bd. 5. Wiesbaden: Athenaion, 1972.
2. *Адмони В. Г.* Система форм речевого высказывания. М.: Наука, 1994.
3. *Schwitalla J.* Was sind „Gebrauchstexte“? // Deutsche Sprache. 1976. H. 4. S. 20–40.
4. *Григорьева Л. Н.* К вопросу толкования термина потребительский текст // Матер. XXXVII междунар. филол. конф. Вып. 12. Секция грамматики (романо-германский цикл). 11–15 марта 2008 г. Санкт-Петербург. СПб.: Изд-во филол. ф-та СПбГУ, 2008. С. 26–31.
5. *Nickl M.* Gebrauchsanleitungen: Ein Beitrag zur Textsortengeschichte seit 1950. Tübingen: Narr, 2001.
6. *Stelzel U.* Aufforderungen in den Schriften Herzögin Elisabeths von Braunschweig-Lüneburg. Documenta Linguistica. Hildesheim, New York: Georg Olms Verlag, 2003.
7. *Zirngibl M.* Die fachliche Textsorte Bedienungsanleitung: Sprachliche Untersuchung zu ihrer historischen Entwicklung. Bd. 82. Frankfurt/M.; New York: P. Lang, 2003.

**ДРЕВНЕНЕМЕЦКИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ «АРГУМЕНТАТИВНОГО ДИСКУРСА»
НОТКЕРА**

Вопросительные предложения древненемецкого периода истории немецкого языка, как они представлены в дошедших до нас письменных памятниках, обладают весьма широким коммуникативным спектром значений. Наряду с первичной функцией запроса информации высказывания с признаками вопросительности могут выполнять и целый ряд вторичных функций, более детальное описание которых возможно проводить в опоре на разные теоретические подходы и авторские концепции.

К наиболее значимым работам последнего времени, затрагивающим проблемы формы и коммуникативных возможностей древненемецких вопросительных предложений, относятся монографические исследования К. Аксель [8] и А. и Э. Диттмер [10], а также ряд статей К. Вих-Райф [17; 18] и М. Краузе [13]. См. подробнее обзор их концепций в диссертации М. Н. Дмитриевой [4].

Названные работы содержат многие тонкие замечания о древненемецких интеррогативах, но необходимо отметить, что обсуждение вопросительных предложений в названных монографиях и обобщающих статьях дано только в самом общем плане, в том объеме и в том ракурсе, который раскрывает глобальную грамматическую концепцию авторов. Приоритетом А. и Э. Диттмер является сопоставление латинской и древневерхненемецкой частей «Евангельской гармонии». Для К. Аксель важны способы заполнения левосторонней валентности смыслового глагола. Итогом работы К. Вих-Райф оказывается «формальное разграничение» (*formale Unterscheidung*) вопросов на общие и частные. Но следующие релевантные для описания вопросительных предложений факторы остаются не учтенными: функциональное взаимодействие разноплановых средств вопросительности в структуре интеррогатива, семантика смыслового глагола вводящих вопрос предложений, внутренний вербальный и более широкий социокультурный и прагматический контекст. Кроме того, при рассмотрении первичных и вторичных функций вопросов практически не принимаются во внимание жанрово-типологические характеристики текстов, из которых взяты примеры.

Между тем, учет типа текста позволяет исследователю наряду с описанием формальных и функциональных особенностей древне-немецких вопросов выявить их роль и в формировании коммуникативной макростратегии целостного текста. Описание языкового материала в данном ракурсе находится в соответствии с современной антропоориентированной лингвистической парадигмой: оно будет способствовать созданию, в терминологии К. Янга и Т. Глоунинга, «текстовой истории немецкого языка»; см. их одноименную монографию «A History of the German Language through Texts» [19].

В рамках данной статьи не представляется возможным реализовать такую цель в полном объеме, учесть и последовательно описать материал всех памятников древне-немецкого периода, а также провести сопоставление материала каждого текста. Поэтому ниже приводится обзор наиболее характерных текстовых функций вопросов на примере одного из наиболее полных текстов древневерхне-немецкого периода — «Утешения философией» в переводе Ноткера.

Переводной текст «Утешение философией», созданный на рубеже X — XI вв., обладает следующими особенностями. Во-первых, латинский язык и немецкий находятся в переводах Ноткера в более сложных отношениях, чем по схеме «латинский оригинал — немецкий перевод» [11, с. 277; 15, с. 136–137]. Дополнительным аргументом в пользу этого является расположение латинского и древневерхне-немецкого текстов в рукописи. Они не составляют два столбца: латинский текст — слева, а древневерхне-немецкий — справа; они следуют сплошным текстом. Это обстоятельство, по-видимому, и было основанием для введения понятия «Notkers Mischprosa» / ‘mixed’ language [2, с. 245; 8, с. 20]. Немецкие фразы чередуются с латинскими, которые или дублируют их или обладают собственным денотативным содержанием. Таким образом, у Ноткера можно наблюдать «постоянные переходы между латинским и древневерхне-немецким» («ein ständiges Hin und Her zwischen Latein und Althochdeutsch») [15, с. 137]. В германистике высказывается мнение, что с именем Ноткера связан расцвет древневерхне-немецкого переводческого искусства, прошедшего путь от глосс через построчные переводы и параллельные тексты на латыни и древневерхне-немецком. И следующей личностью, сопоставимой с Ноткером, станет М. Лютер. Х. У. Шмид указывает на то, что «переводческое искусство Ноткера достигло такого расцвета, который

сопоставим только с М. Лютером» («erreichte die Übersetzungskunst mit Notker einen Höhepunkt, der vielleicht bereits auf Martin Luther vorauswies») [14, с. 18–19].

Во-вторых, текст Ноткера отличает «очень точная и продуманная орфография» [5, с. 44] и «продуманный синтаксис» («ausgeprägte Syntax») [11, с. 293].

В-третьих, в ряде исследований, посвященных разным аспектам сочинения Боэция (и его перевода Ноткером), констатируется важность диалогического построения текста. В этой связи М. фон Альбрехтом, например, применяется термин *терапевтический диалог* [1, с. 1855]. И. Г. Магюшина обозначает стиль «Утешения» как *стиль диатрибы* [6, с. 15] и указывает на важную роль внутри диалога риторических вопросов [6, с. 16]. Действительно, основным текстообразующим принципом «Утешения» является диалог, разговор между автором-рассказчиком и аллегорической фигурой — Философией. Такая диалогичность и относительно большой объем текста, 363 книжных страницы, объясняют высокую частотность вопросно-ответных единств. В среднем она составляет 1,4 вопроса на одну страницу.

Четвертая особенность данного памятника связана с его жанрово-типологическими характеристиками. Традиционно жанр «Утешения» Боэция определяется как трактат — тип текста, относящийся к аргументативному дискурсу. Общая прагматическая цель такого рода текстов состоит в том, чтобы убедить, привлечь собеседника на свою сторону посредством доказательств и доводов в пользу защищаемого тезиса [7, с. 269–283; 12, с. 267]. Особенности проявления типа текста «трактат» на материале переводных древнемецких памятников обсуждаются, например, в работах Я. Деспорта [9, с. 277–285].

Как известно, «Утешение» состоит из пяти книг: I — исповедь; II — моралистическая диатриба (философская наставительная беседа); III — сократический диалог (его главная тема — «Высшее Благо»; *Summum Bonum*); IV и V — теоретический трактат. В IV книге обсуждается содержание понятия «зло», книга V посвящена проблемам свободы воли и оправдания божественной справедливости перед лицом зла, соотношения Судьбы и Провидения. Замечу, что понятие «терапевтический диалог» (по М. фон Альберту) в большей степени применимо ко II и III книгам.

Таким образом оказывается, что внутри самого текста аргументативная стратегия неоднородна. И это связано не только с тем, что меняются темы диалогов, но и с тем, что в разных частях текста мы наблюдаем разные психологические состояния автора-рассказчика, разные ступени его «излечения» (на это указывают и высказывания, вложенные в уста Философии в разных частях текста). Для языковой реализации различных стратегий аргументации используются разные риторические приемы, в том числе вопросительные предложения в первичной функции запроса информации и во вторичных функциях.

Вопросительные предложения в первичной функции сосредоточены в тексте I книги, в которой Философия путем расспросов стремится полнее узнать душевное состояние утешаемого. Такие вопросы содержат в структуре языковые средства, используемые для выражения первичной функции вопросительности — запроса недостающей информации: вопросительные слова для частных вопросов (примеры 1), 5)) и постановку спрягаемого глагола на первое место для общих (примеры 2)–4)):

- 1) Ságe no . <...> mít uuíu er sía ríhte **uuéist** tu? (N., I, 29, 9–11, 46) — Скажи мне, как он [Бог] над ним [над миром] осуществляет власть, знаешь ты?
- 2) Nû ságe mir. Pehúgest tu díf . uuáz állero dingo énde sí . (N., I, 29, 28–30, 46) — Скажи же мне! Знаешь ты, что всех вещей конец есть?
- 3) Tóh uuólti íh táz tu mír ságetíst. **Uuéist** tu díf ménníken uuésen? (N., I, 30, 17–18, 47) — И все же хотела бы я, чтобы ты мне сказал, помнишь ты еще, что ты человек?

Из этих примеров видно, что интенция запроса информации получает дополнительное усиление с помощью прямых директивов с глаголами говорения широкой семантики в императиве и субъективно-модальных частиц *no* / *nu* / *toh* при них. В примере 2) дополнительно указан адресат (*mir*). Пример 3) содержит директив в смягченной форме: неправильный глагол *uuítan* стоит в форме конъюнктива. Вопросы с целью запроса информации можно также найти в VI и V книгах, которые и представляют собой, собственно говоря, трактат. Адресантом таких вопросов выступает автор-рассказчик, например:

- 4) Nû uuére got *chád ih . íst* tehéin uuíze dero sêlôn nâh temo tôde? (N., IV, 30, 21–22, 260) — «Если есть Бог, — сказал я, — знают о нем души после смерти?».

Признаком общего вопроса здесь является глагол-связка на первом месте. Вводящее предложение из синтаксического минимума *chád ich*, разделяющее придаточное условное и главное предложение, выступает языковым маркером автореференции высказывания. Такой же прием используется и в самом начале V книги, в которой Философия напоминает Боэцию, что такое случай (в определении Аристотеля):

- 5) Uuîo *chád ih* ságeta er? (N., V, 4, 28, 307) — «Как, — сказал я, — говорит он?».

В целом вопросы в первичной функции в тексте Ноткера нечастотны. Всего их выявлено 112 примеров (21,9 %). Данный тип вопросов выполняет членящую функцию, переключает повествование от одной темы к другой, а также служит уточнению центрального понятия, обсуждаемого в отдельном фрагменте текста (пример 5).

Намного бóльшую частотность в тексте трактата имеют вопросы во вторичных функциях (400 примеров / 78,1%). Они, собственно, и используются как один из способов реализации общей аргументативной стратегии всего текста.

Коммуникативные трансформации их получают языковую экспликацию с помощью различных языковых средств. Самыми частотными среди них (всего 142 случая употребления) являются отрицательные частицы (*ne / ni*) и отрицательно-вопросительная частица *ne... na*, первая часть которой всегда стоит в контаминированной форме со спрягаемым глаголом в начале предложения, а второй компонент *na*, как правило, замыкает синтаксическую конструкцию. Данные частицы наблюдаются только в общепрописительных предложениях. Обращает на себя внимание использование в тексте также двойных отрицаний (возможны формы *ne... niht na*, что иллюстрирует, в частности, пример 6)), которые, однако, не приводят к взаимной нейтрализации. Такое их употребление обозначается термином *negative concord* «согласование отрицаний» [14, с. 73] и является характерной чертой немецкого языка XI в.

Отрицательные и отрицательно-вопросительные частицы об-
ладают наибольшей частотностью употребления во II и III книгах
«Утешения». Следует отметить, эти книги наиболее ярко и после-
довательно реализуют то коммуникативное задание, которое в со-
временной терминологии можно обозначить как «персуазивную
стратегию» [3] Философии.

Во II книге «всплеск» употреблений отрицательно-вопроси-
тельной частицы фиксируется в небольшом текстовом отрывке,
который Философия произносит от лица Фортуны. Философия
так и говорит (обращаясь к Боэцию) в начале седьмого параграфа
II книги: Æh uuólti nú géрно íro sélbero uuórto . mít tír uuáz chôsôn. —
Я очень хотела бы сейчас ее самой [Фортуны] словами тебе кое-
что объяснить. Дальше Философия стремится убедить своего со-
беседника в непостоянстве Фортуны, и как следствие этого факта,
в нецелесообразности жалеть об утрате дарованных ею благ. Вот
некоторые примеры из этого отрывка текста:

- 6) **Neuuás** tír mínes sítes **nieht chúnť na?** (N., II, 7, 1–2, 61) — Разве тебе мои обычаи были не известны прежде?
- 7) **Nelírnétôst** tû **na** chínt uuésentêr . dáz pacubius poeta scréib. (N., II, 7, 13,15–17, 62) — Не учил ли ты будучи ребенком, что поэт Пакубий написал?
- 8) **Neuuéist** tv **na?** (N., II, 41, 26, 104) — **Разве не знаешь** ты?
- 9) **Neíst** tíz spénstígo **gechôsôt na?** (N., II, 51, 9, 124) — **Разве** это убедительным не кажется?

Аргументативная стратегия здесь реализуется не только упо-
треблением отрицательно-вопросительной частицы, но и также
использованием глаголов умственной активности или синонимич-
ных им сочетаний.

Отрицательно-вопросительная частица *na* обладает высокой
частотностью употребления и в III книге, основной темой которой
является понятие «Высшего Блага» (Summum Bonum):

- 10) **Nesól** man máhte gúot áhtôn **na?** (N., III, 18, 2–3, 136) — **Не** надо ли силу добра принимать во внимание?
- 11) Dáz chíť . **nesól** man guís sîn máhte mít summo bono **na?** (N., III, 18, 3–4, 136) — Скажи, **не** должно ли быть известным власти Высшее Благо?

- 12) *Nemág tie ríchen nieht húngeren nóh túrsten na?* (N., III, 30, 18–19, 143) — **Разве не** могут богатые испытывать ни голод, ни жажду?
- 13) *Nesíhest tu dárána na . uuáz únerôn ámbaht únde uuírde gébên dien úbelên?* (N., III, 33, 30–1, 145–146) — **Разве не** видишь ты, какое бесчестие должности и власти приносят злые?

Можно привести и еще большее количество примеров, но уже из этих фрагментов видно, что в тексте III книги значительно возрастает количество употреблений претерито-презентных глаголов (см. примеры 10)–12)).

Таким образом, пять книг сочинения Боэция и, соответственно, перевода Ноткера представляют собой разные типы аргументации в традиционно подводимом под тип текста «трактат» «Утешении». В качестве одного из приемов аргументации активно используются коммуникативные трансформации вопросительных предложений, которые получают языковое воплощение путем использования в структуре вопроса разноплановых языковых средств (отрицательных и отрицательно-вопросительных частиц, глаголов умственной активности, претерито-презентных глаголов).

Литература

1. *Альберт фон М.* История римской литературы в трех томах. Т. 3. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2005.
2. *Арсеньева М. Г., Балашова С. П., Берков В. П., Словьева Л. Н.* Введение в германскую филологию: учебник для филологических факультетов. М.: ГИС, 2000.
3. *Голоднов А. В.* Персуазивность как универсальная стратегия текстообразования в риторическом метадискурсе (на материале немецкого языка): дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2011.
4. *Дмитриева М. Н.* Немецкие вопросительные предложения в сопоставительно-диахроническом аспекте: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2011.
5. *Жирмунский В. М.* История немецкого языка. М.: Высшая школа, 1965.
6. *Матюшина И. Г.* Боэций и король Альфред: поэзия и проза // Стих и проза в европейских литературах Средних веков и Возрождения: сб. статей. М.: Наука, 2006. С. 11–57.
7. *Филиппов К. А.* Лингвистика текста: курс лекций. СПб.: Изд-во С.-Петербург. университета, 2003.

8. *Axel K.* Studies on Old High German Syntax. Left sentence periphery, verb placement and verb-second. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007.

9. *Desportes Y.* Auh im althochdeutschen Isidor // Konnektoren im älteren Deutsch. Akten des Pariser Kolloquiums / Hrsg. von Y. Desportes. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2003. S. 271–319.

10. *Dittmer A., Dittmer E.* Studien zur Wortstellung — Satzgliedstellung in der althochdeutschen Tatianübersetzung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1998.

11. *Eilers H.* Die Syntax Notkers des Deutschen in seinen Übersetzungen. Boethius, Martianus Capella und Psalmen. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2003.

12. *Engel U.* Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2009.

13. *Krause M.* Die Heilung des Blinden. Versuch eines Vergleichs // Syntax. Althochdeutsch — Mittelhochdeutsch. Eine Gegenüberstellung von Metrik und Prosa. Akten zum Internationalen Kongress an der Universität Berlin 26. bis 29. Mai 2004. Berliner Sprachwissenschaftliche Studien. Bd. 7. Berlin: WEIDLER Buchverlag Berlin, 2005. S. 303–350.

14. *Schmid H. U.* Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2009.

15. *Sonderegger St.* Althochdeutsche Sprache und Literatur. Eine Einführung in das älteste Deutsch. Darstellung und Grammatik. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2003.

16. *Speyer A.* Deutsche Sprachgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

17. *Wich-Reif Cl.* “Das Spiel vom Fragen” — (k)ein Problem der althochdeutschen Syntax? // Historische Textgrammatik und Historische Syntax des Deutschen. Traditionen, Innovationen, Perspektiven. Bd. 1: Diachronie, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch / Hrsg. von A. Ziegler unter Mitarb. von Ch. Braun. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2010. S. 427–447.

18. *Wich-Reif Cl.* Fragen und Antworten Verba dicendi in der Tatianbilingue und in Otfrids “Evangelienbuch” // Syntax. Althochdeutsch — Mittelhochdeutsch. Eine Gegenüberstellung von Metrik und Prosa: Akten zum Internationalen Kongress an der Universität Berlin 26. bis 29. Mai 2004. Berliner Sprachwissenschaftliche Studien. Bd. 7. Berlin: WEIDLER Buchverlag Berlin, 2005. S. 71–90.

19. *Young Chr., Gloning Th.* A History of the German Language through Texts. London; New York: Routledge, 2004.

Источник иллюстративного материала

N. — Die Schriften Notkers und seiner Schule: in 3 Bd. Bd. I. Schriften philosophischen Inhalts / Hrsg. von P. Piper. Freiburg I. B. und Tübingen, 1882.

РОЛЬ ФАКТОРА АДРЕСАТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Современная лингвистическая мысль характеризуется становлением новой научной парадигмы. Большое количество социально-политических изменений повлекло за собой и значительные изменения в сфере политической коммуникации.

Не вызывает сомнения тот факт, что мотив создания любого речевого произведения политической сферы общения обусловлен, как правило, желанием повлиять на адресата. Для данного типа коммуникации наиболее характерен групповой и массовый адресат.

Ю. С. Степанов провозглашает принцип «антропоцентризма» речи, который является развитием знаменитого тезиса Э. Бенвениста о «субъективности» речи — ее полной обусловленности субъектом говорения. «Признание главенствующей роли говорящего, по воле и в соответствии с намерениями которого вообще возникает то или иное речевое произведение, является отправной точкой, движение от которой к тексту, к референтной ситуации, не может оставить в стороне важнейший, внешний по отношению к говорящему, фактор экстралингвистической ситуации адресата» [3, с. 293].

Реальная картина коммуникации может быть воссоздана, если принять в дополнение к принципу «антропоцентризма» в духе Ю. С. Степанова [18] (иначе — автоцентризма) еще и принцип Г. Бринкманна «ориентированности речи на партнера» („Partnerbezogenheit der Rede“) [23, с. 730] — то, что Л. В. Славгородская остроумно определяет как речевую мимирию — ориентацию говорящего на «определенного адресата речи, как в отборе языкового материала, так и в построении речи, иногда даже в звуковом ее оформлении» [17, с. 123].

Согласно Дж. Серлю, учитывающему в своей классификации речевых актов только коммуникативно-психологические аспекты языка, говорящий выполняет речевые акты, выражая в речевых высказываниях свое намерение утверждать что-то, обещать что-то и т. д., и делает это так, чтобы собеседник мог распознать намерения говорящего. Собеседник же играет пассивную роль: при опре-

делении типа речевого акта учитывается только намерение и мнение говорящего.

В соответствии с этим, выполнение перлокутивных актов для Дж. Серля «состоит в исполнении иллокуции для того, чтобы произвести эффект на действия, мысли, предположения и т. д. слушающего, но он не проводит различия, отмечает Ф. Х. ван Еемерен, — между эффектом, при производстве которого слушающий может играть активную роль, и эффектом, где это не так» [9, с.3].

Таким образом, в теории речевых актов адресат рассматривается лишь как объект воздействия говорящего, и роль слушающего сводится, следовательно, лишь к исполнению замыслов оратора. На недостаточность такого понимания роли адресата в речевом взаимодействии указывали многие исследователи, например, Ф. Х. Еемерен (1994), В. И. Лагутин (1991), А. А. Романов (1998) и др.

Взгляд на адресата как пассивного слушателя получает свое развитие в теории языкового манипулирования сознанием. Общеизвестным является тот факт, что воздействие путем прямого выражения интенций наиболее уязвимо для противодействия адресанта и адресата. Во многих случаях значимость именно имплицитной информации для достижения перлокутивного эффекта настолько значительна, что можно говорить о языковом манипулировании сознанием.

Языковое манипулирование — это использование особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении, скрытого — значит неосознаваемого адресатом [10, с.145].

Язык в таких случаях используется, по удачному выражению одного из исследователей языковой манипуляции Р. Блакара, как «инструмент социальной власти» [4, с.89]

В. Бергсдорф считает, что конечной целью языка политики является влияние на поведение людей с помощью языковых средств. Чем больше правящие классы опираются на силу, тем значительнее их воздействие на язык. Поскольку в современном обществе возросло количество самостоятельных решений, принимаемых человеком в социальных контактах, при выборе из целого спектра возможностей, альтернатив — стимулирование к действию в коммуникации стало особенно актуально [21].

Большее распространение получило отношение к адресату как к одному из собеседников: таковы, в частности, предложенные Ст. Левинсоном в 1994 году нормы ведения беседы, близкие к принципу кооперации Грайса, разработанные классификации коммуникантов у Е. А. Земской и В. Д. Девкина. Такова, в целом, и точка зрения Э. Бенвениста, который рассматривал влияние реального и воображаемого партнера по акту высказывания на появление некоторых классов знаков, таких как, например, побудительные формы.

Г. Г. Кларк и Т. В. Карлсон предлагают отличать адресата, на которого направлен иллокутивный акт, и других получателей информации от пассивных участников коммуникации, (слушающих) или удаленных от отправителя коммуникации (телезрителей, читателей газеты) [12].

Интересна точка зрения О. Г. Почепцова, который считает, что второй коммуникант в процессе коммуникативного контакта получает разный коммуникативный статус; сначала он — адресат коммуникации, затем — получатель информации, а на последнем этапе он анализирует информацию. При отношении «отправитель—адресат» партнер полностью бесправен; при отношении «отправитель—получатель» у него есть некоторая свобода, а в случае отношений «отправитель—анализатор» у него уже есть полная свобода [16, с.10–11].

В настоящее время подавляющим большинством исследователей фактор адресации признается значимым при «построении» речи говорящего. Существенность данного фактора отмечается многими отечественными и зарубежными лингвистами, например, Л. П. Крысиным (1976), Т. Г. Миролюбовой (1989), В. В. Богдановым (1990), Т. Г. Винокур (1993), О. П. Воробьевой (1993), Н. Л. Овшиевой (1999), Е. Г. Желудковой (2004), W. Bublitz, P. Kühn (1981), L. Huth (1981), Th. Zimmermann (1998), C. Böttger, J. Probst (2001), K. Schindel (2004) и др.

При исследовании немецкой политической коммуникации понятию адресации, взаимоотношению партнеров по коммуникации уделяли внимание многие немецкие лингвисты, в частности, Н. Schelsky (1975), S. Sager (1981), W. Dieckmann (1985), G. Presch (1989), Y. Petter-Zimmer (1990), J. Klein, P. Kühn (1992, 1995), W. Daele

(1996), W. Holly (1990, 1996) A. Burkhardt (1998), J. Klein, M. Hartung (2001), M. Schröter (2006).

Например, интересной является работа немецкого лингвиста Мелани Шретер, в которой она подробно анализирует 114 речей федеральных канцлеров Германии в период с 1951 по 2001 годы [25]. Центральной темой этого многоаспектного исследования является влияние фактора адресата на структуру и содержание текста публичного выступления политиков высокого ранга.

Выступление государственного деятеля перед какой-либо аудиторией не может не содержать минимальный набор факторов, ориентированных на адресата, так как цели и задачи выступающего очень часто настолько глобальны, что без предварительного анализа аудитории, ее взглядов и настроений посредством целого ряда социальных институтов просто невозможно обойтись.

Взаимодействие автора и адресата в публичной речи в современной лингвистике принято рассматривать через категорию адресованности. Появление феномена «адресованная речь» можно объяснить действием смысловой установки на взаимопонимание, лежащей в основе успешного речевого взаимодействия. Фактор адресата можно рассматривать в связи с понятием адресованной речи как речи, предназначенной для партнера по коммуникации и рассчитанной на его понимание.

Рассмотрим данную категорию более конкретно. Для характеристики этого понятия необходимо обратиться к высказыванию М. М. Бахтина, который определяет деятельность свойством текста как вербального объекта, посредством которого опредмечиваются представления о предполагаемом адресате и особенностях его интерпретативной деятельности. Он писал, что подлинная сущность текста всегда разворачивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов. При этом происходит реконструкция «образа аудитории» [1, с.290].

Общим местом многих лингвистических работ стал принцип диалогичности речи, на который указывал М. М. Бахтин [3]. Это значит, что говорящий, создавая текст, вступает во внутренний диалог с предполагаемым реципиентом, моделируя его возможные реакции; реципиент, в свою очередь, воспринимая текст, моделирует намерения говорящего, ведет внутренний диалог с автором, двигаясь от восприятия к интерпретации и собственным оценкам.

Проявлением указанного принципа в исследованиях может считаться ориентация высказывания на партнера; «категория контактности», предложенная Р.М. Гайсиной, «принцип диалога» немецкого лингвиста Х. Вайнриха как свойство ориентации текста на читателя (Prinzip des Dialogs) [26]. Ч. Фриз внутри диалогического единства выделяет «единицы ситуативного высказывания» и «единицы ответного высказывания», дифференцируя таким образом реплики говорящего и адресата. Д. Вундерлих [27] определяет группу инициативных высказываний (например, директивы) и группу реактивных высказываний (например, сатисфактивы); при этом некоторые типы высказывания могут быть и инициативными и реактивными (например, комиссивы).

В фундаментальных работах по функциональной грамматике акцентируется необходимость различать два взаимонаправленных процесса — кодирование и декодирование речевой информации и, соответственно, «грамматику для говорящего», который подбирает нужные формы для определения смыслов (движется от содержания к форме), и «грамматику для слушающего», который выводит определенные смыслы из наличных, данных ему говорящим форм (т. е. проделывает обратный путь — от формы к содержанию) [11].

Мысль о том, что в речевом поведении говорящего главным является поиск общего языка со слушающим, подчеркивает Т. Г. Винокур. Так, по мнению исследователя, фактор адресата оказывает определенное влияние на построение речи говорящего. Пассивная роль коммуникативного ожидания собеседника способна определить речевое поведение говорящего, который выступает как реципиент в фазе «реакция» по отношению к собственной речи, принимая на себя роль адресата [7, с.4].

Нужно учитывать, что адресат воспринимает не только объективную и субъективную информацию, сообщаемую ему партнером (в нашем случае — политиком) — описание некоего положения вещей с оценкой его достоверности, вероятности, желательности, приятности, но и реагирует на заинтересованность в общении с собой, на отношение к себе. Говорящий, создавая свой текст, рассчитывает на активное восприятие слушателей, на активную деятельность понимания, без которой «говорение» лишено смысла.

Отбор языковых средств при построении речи производится говорящим под большим или меньшим влиянием адресата и отве-

та, прогнозируемого с его стороны [2, с.471]. «В порождении речи мощно проявляются силы, исходящие по существу не от говорящего, а от его оценки состояния, знаний, склада ума, принадлежности к тому или иному социальному слою и т. д. тех, на кого рассчитана речь» [20, с.18].

Вступая в контакт с другими людьми, человек обязательно должен отождествлять себя с ними, без этого немислимо общение и выработка средств взаимопонимания. «Существенно отметить, — пишет в этой связи Г.А. Орлов, — что фактически любой непринужденный речевой акт разворачивается с учетом фактора адресата («психологический фон»), что фактически в ходе любого дискурса действуют проявляющиеся с разной степенью интенсивности контроль и самоконтроль разворачивания установок и целей самим говорящим» [15, с.98].

Ко всему вышесказанному добавим, что З. Я. Тураева предлагает рассматривать адресованность как имманентную прагмасемантическую категорию. Представление о предполагаемом адресате отражается в адресантно-ориентированной перспективе, в лексических единицах, синтаксических структурах [19, с.140].

Мы, вслед за О. П. Воробьевой, понятие адресованности определим как материализованную в ткани текста программу его интерпретации, стратегию объективации образа читателя — фиктивного и идеального [8]. Представляется необходимым дополнить данное определение — объективируется не только образ читателя, но и слушателя.

Таким образом — адресат и адресант — это две важные составляющие речевого общения, только принятие во внимание их характеристик может привести к акту успешной коммуникации. В связи с важностью фактора адресата в политической коммуникации на первое место выходит изучение характеристик адресата, адресанта и ситуации, в которой они взаимодействуют.

Как отмечает в этой связи В. В. Богданов, многое здесь «зависит как от характеристик самих коммуникантов, так и от особенностей коммуникативной ситуации, то есть условий, в которых коммуникация осуществляется» [5, с.36].

Как отмечает Е. С. Кубрякова, при изучении текста как послания, обращенного к определенному адресату, учитываются факторы прагматического порядка, условия речевого сообщения и все,

что создает коммуникативно релевантный контекст общения и его включенность в сферу неречевой деятельности, т.е. связь с предметным миром, миром мысли, с особенностями существования и фиксации данного значения в конкретной языковой системе и с реализующими его формами [14, с. 32].

В целом, наиболее показательными характеристиками адресата публичной речи являются: объем аудитории, социальный и демографический состав, статусно-ролевые отношения между коммуникантами ситуации общения, конвенции и нормы социального взаимодействия, материальное положение, а также интересы, нужды и настроения. Учет этих экстралингвистических факторов позволяет оратору сориентироваться при материализации функции воздействия текста политического публичного выступления в языковых единицах разных уровней. Исследование фактора адресата, таким образом, сводится к анализу воспринимающей речи аудитории и рассматривает феномен адресованной речи как наиболее эффективное средство установления и поддержания социальных отношений в процессе вербальной коммуникации.

У.Брайт [6] вводит такие параметры коммуникации как получатель (*Reciever*), отправитель (*Sender*) и обстановка (*Setting*), где особенности коммуникации прямо связаны с социальным статусом участников коммуникации. Коммуникативная функция определяет воздействующий характер текста (*Handlungscharakter*) и вид коммуникативного контакта, который адресат (*Emmitent*) стремится донести до адресанта (слушающего). Данный термин (*Emmitent*), который использует в своей работе К.Бринкер, был впервые введен Г.Глинцем в 1977 году. Исследователь обозначил им любое лицо, продуцирующее текст [24, с. 15].

Вслед за К.Бринкером и многими другими исследователями, мы отмечаем назревшую необходимость дополнить понятие языковой компетенции (*Sprachkompetenz*) понятием коммуникативной компетенции. Д.Вундерлих определяет данное понятие как способность говорящего вступить в коммуникацию с помощью языковых выражений. Именно коммуникативная компетенция в первую очередь необходима в рамках устного публичного выступления, так как она включает в себя структуры и правила, которые определяют активизацию языковой компетенции в конкретной ситуации коммуникации [27].

Р. Бахем считает, что при риторическом анализе политического текста должны быть учтены такие параметры как:

1) историко-прагматический аспект: а) речевая ситуация в широком смысле слова (место, время, уровень знания слушающего и говорящего); б) интенция говорящего с учетом данной ситуации;

2) особенности языковой структуры как средства выражения идеологии говорящего и его интенции;

3) техника речевого исполнения;

4) внешнее оформление речи;

5) воздействие текста на получателя, как на адресата, так и на анализирующего текст (цит. по [13, с. 58]).

Вопросы координации социальных и психологических параметров коммуникантов и их речевого взаимодействия изучались в отечественной лингвистике Л. А. Азнабаевой, Н. Д. Аругюновой, О. Н. Морозовой, А. А. Романовым и др.

Таким образом, все разнообразие исследований таких категорий, как «автор» и «адресат», можно свести к рассмотрению ими роли этих категорий в процессе коммуникации. При этом существуют две крайние точки зрения. Одна из них утверждает активную роль автора и пассивную роль слушателя. Вторая позиция постулирует обратное. Так, например, первая позиция становится актуальной при исследовании письменных текстов художественной литературы, вторая же позиция подходит для исследования текстов публичных выступлений политиков. Именно в политической коммуникации происходит перераспределение акцентов с говорящего на адресата, который и задает построение всего текста политического выступления.

Литература

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
2. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. литература, 1986.
3. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
4. Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 88–120.
5. Богданов В. В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. Л.: ЛГУ, 1990.
6. Брайт У. Введение: параметры социолингвистики // Новое в лингвистике. Вып. 7. М.: Прогресс, 1975. С. 34–42.

7. *Винокур Т. Г.* *Говорящий и слушающий*. М.: Наука, 1993.
8. *Воробьева О. П.* *Лингвистические аспекты адресованности художественного текста: автореф. дис. ... д-ра филол. наук*. М.: МГЛУ, 1993.
9. *Еемерен Ф. Х., ван Гроотендорст Р.* *Речевые акты в аргументативных дискуссиях*. СПб.: Б. и., 1994.
10. *Имплицитность в языке и речи*. М.: Языки русской культуры, 1999.
11. *Кацнельсон С. Д.* *Типология языка и речевое мышление*. Л.: Наука, 1972.
12. *Кларк Г. Г., Карлсон Т. В.* *Слушающие и речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике: теория речевых актов*. Вып. 17. М.: Прогресс, 1986. С. 270–321.
13. *Крючкова Т. Б., Нарумов Б. П.* *Зарубежная социолингвистика*. М.: Наука, 1991.
14. *Кубрякова Е. С.* *Номинативный аспект речевой деятельности*. М.: Наука, 1986.
15. *Орлов Г. А.* *Современная английская речь: учеб. пособие*. М.: Высшая школа, 1991.
16. *Почепцов О. Г.* *Основы прагматического описания предложения*. Киев: Вища школа. Изд-во при Киевском гос. университете, 1986.
17. *Славгородская Л. В.* *О функции адресата в научной прозе // Лингвостилистические особенности научного текста*. М.: Наука, 1981. С. 93–103.
18. *Степанов Ю. С.* *Имена, предикаты, предложения: Семиологическая грамматика*. М.: Наука, 1981.
19. *Тураева З. Я.* *Лингвистика текста*. М.: Просвещение, 1986.
20. *Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи*. М.: Наука, 1991.
21. *Bergsdorf W.* *Herrschaft und Sprache: Studie zur politischen Terminologie der Bundesrepublik Deutschland*. Pfullingen: Nesteverlag, 1983.
22. *Brinker K.* *Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden*. 3. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1992.
23. *Brinkmann H.* *Die deutsche Sprache: Gestalt und Leistung*. Duesseldorf: Nesteverlag, 1971.
24. *Glinz H.* *Textanalyse und Verstehenstheorie I*. 2. Aufl. Wiesbaden: Akad. Verlagsgesellschaft Athenaion, 1977.
25. *Schröter M.* *Adressatenorientierung in der öffentlichen politischen Rede von Bundeskanzlern 1951–2001: Eine qualitativ-pragmatische Korpusanalyse*. Frankfurt/M.: Peterlang, 2006.
26. *Weinrich H.* *Textgrammatik der deutschen Sprache*. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1993. S. 892–893.
27. *Wunderlich D.* *Linguistische Pragmatik*. Frankfurt/M.: Athenäum, 1972.

АКЦЕНТИРОВАННОСТЬ ПОЗИЦИИ ГОВОРЯЩЕГО И СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В ВЫСКАЗЫВАНИЕ МОДАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Антропоцентричность, обращённость к человеку говорящему и оценивающему является самой общей и одновременно самой всепроникающей характеристикой категории модальности. Эта категория вбирает в себя важнейшие языковые проекции знаний, воли и чувств говорящей личности в дискурс-текст и опосредует, тем самым, одну из главных функций естественного языка — функцию самовыражения, саморепрезентации говорящего через язык в процессе речетворческой деятельности.

Из коммуникативно-прагматического понимания модальности как антропоцентрической категории, опирающейся на саморефлексию и самооценку говорящего своих эпистемических, волевых и эмоциональных состояний, вытекает эгореферентный характер языковых средств модальности. Средства модальности следует рассматривать в качестве обозначений «эго-проекций» указанных внутренних состояний «я»-говорящего в дискурс-текст.

Понятие эгореференции тесно связано, как известно, с другим лингвокогнитивным понятием: автореференцией. Истоки научной разработки этих операционных концептов восходят к выделению в теории речевых актов так называемых перформативных высказываний. Сам термин «перформатив» был введен в научный оборот английским философом Дж. Остином и первоначально прилагался к высказываниям, эквивалентным совершению действия или поступка [6, с. 23]. Характеризуя перформативные высказывания, Н. Д. Арутюнова указывает на их функционально-смысловые отличия от других высказываний: «Перформатив входит в контекст жизненных событий, создавая социальную, коммуникативную или межличностную ситуацию... Произнести “Я клянусь” значит связать себя клятвой. Соответствующее перформативное действие осуществляется самим речевым актом. В этом смысле перформативы автореферентны: они указывают на ими самими выполняемое действие» [2, с. 372–373]. Среди отличительных формальных, смыслообразующих и прагматических признаков и свойств перформативов лингвисты обычно отмечают следующие: выражен-

ность перформативного глагола первым лицом единственного числа настоящего времени; произнесение перформатива равнозначно совершению действия, а не его описанию; невозможность истинностной оценки перформатива, который может быть только эффективным или неэффективным (успешным / неуспешным) в речевом акте; обращенность к социальным нормам и конвенциям [3, с. 27–38].

По некоторым, главным образом чисто внешним, параметрам, с истинными перформативами сближаются предложения с эксплицитными эпистемическими и эмотивными модусами типа *Ich weiss sicher / Ich nehme an / Ich freue mich darauf, dass er endlich weggefahren ist* и т. п. (Я знаю точно / Я предполагаю / Я радуюсь, что он наконец уехал). Однако такие языковые образования, несмотря на внешние показатели перформативности, обнаруживают и глубокие функционально-смысловые отличия от подлинных перформативов, эквивалентных действию-поступку. Если перформатив, как метафорически говорит Н. Д. Арутюнова, «входит в контекст жизненных событий» на правах поступка, то благодаря употреблению модальных компонентов жизненные события «втягиваются» в личную сферу говорящего. В этом смысле более уместна, как представляется, их характеристика как эгоцентричных и эгореферентных выражений, сообщений о внутреннем мире говорящего [5, с. 27–30].

Модальные слова и выражения как функциональные дериваты ментальных и эмоциональных предикатов обнаруживают с ними глубинное семантическое сходство. Специфика употребления данных категориальных классов слов раскрывается наиболее полно применительно к упомянутым семантическим типам предикатов в целом ряде лингвистических работ последнего времени. Согласно Д. О. Добровольскому и Е. В. Падучевой, в контекстах от 1-го лица ментальные и эмоциональные глаголы испытывают «семантический сдвиг»: компонент значения «нахожусь в данном эмоциональном / ментальном состоянии» переходит в компонент «сообщаю, что нахожусь в данном эмоциональном / ментальном состоянии», т. е. я «не просто делаю это фактом моего осмысления или эмоционально переживаю, но и выражаю это» [4, с. 107–108]. Сходным образом модальные эпистемические и эмотивные компоненты, будучи включенными в высказывание, формируют особую авторизо-

ванную плоскость, параллельную основной фактуально-предметной линии сообщения.

Языковые средства модальности эгореферентны и «прикреплены» к субъекту речи в том смысле, что все они «центрированы» на говорящего и мыслящего человека и являются результатом самоанализа его собственных внутренних состояний в связи с событиями внешнего мира, актуализируемыми в его сознании по ходу текущего дискурса. Анализируя «Я—предложения», Ю. С. Степанов отмечает их кардинальные референциальные и связанные с ними функциональные отличия от «Он — предложений»: «Я»—предложения характеризуются целым рядом черт, свойственных только им. Если для «классических» предложений типа *Листья дерева зеленые; Жучка — собака; Закат пылал; Сын уехал в город* и т. п. верно, что их субъект выполняет одновременно две функции — референции к внешнему миру и индивидуализации — выделения называемого предмета из некоторого множества, то для «я»-предложений эта характеристика не подходит. Субъект «я», очевидно, индивидуализирует; собственно, «я» — это высшая степень индивидуализации, которая может быть достигнута средствами языка. Но о функции референции к внешнему миру можно говорить только с большими ограничениями...» [Степанов 2004а: 165]. Сосредоточенность «я»-субъекта на индивидуализации, на выделении личной сферы самого говорящего резко ограничивает семантический круг предикатов, с которыми «я»-субъект может сочетаться. По этому поводу Ю. С. Степанов высказывает далее весьма тонкие и объективно точные замечания: «... в наиболее типичном предложении с «я» — утверждении о чем-то, что происходит с «я», — утверждаемое относится как раз не к внешнему миру, а к внутреннему состоянию «я»: «Я радуюсь»; «Я страдаю»; «Я зябну»; «Я собираюсь уехать» и т. п. ... Целый ряд предикатов, прежде всего перформативные и модальные глаголы, являются таковыми только в сочетании с «я»-субъектом <...>. Будучи приписанными любому другому лицу, кроме говорящего, они выражают нечто совсем иное, хотя по внешности и похожее: не акт клятвы, а утверждение, звучащее как клятва (Он клянется), не возможность, а вероятность (Он может приехать = «Он говорит, что может...» или «Я считаю, что он может...» или «Может быть, что он приедет») [7, с. 166].

Конечно, в многообразных дискурсивных практиках людей речь (текст) очень редко замыкается на личной сфере самого говорящего. Она почти всегда является «обращенной», адресованной «другому», выполняя свое основное коммуникативное предназначение. Но и смыслообразующая когнитивная функция языка предстает прежде всего как формирование «мысли для другого». С этой точки зрения эгореферентные элементы речи — языковые обозначения персонального, пространственно-временного дейксиса, оценочные и, естественно, модальные компоненты — «удерживают» отчуждаемую «другому» человеку речь в личной сфере говорящего-творца этой речи, создают эффект присутствия автора и его сопричастности к разворачивающимся в текущем дискурсе-тексте событиям.

Присутствие автора речи и степень акцентированности этого присутствия для адресата могут быть различными в актах коммуникации. Но всегда этот информационно-смысловой слой сообщения в той или иной мере поддается реконструкции в опоре на эгореферентные слова и выражения. В этой связи модальные компоненты выступают в качестве эксплицитных маркеров авторизации речевого высказывания, а способ их синтаксико-грамматического подключения к структуре целого опосредован той мерой выделенности позиции субъекта речи, которую сам говорящий считает достаточной и уместной в сложившемся ситуационном и прагматическом контексте. Анализ функционирования модальных компонентов в контекстах художественной коммуникации позволяет выделить для них три типичных варианта вхождения в синтаксическую организацию предложения-высказывания, так или иначе связанных со стремлением субъекта речи маркировать свое присутствие в коммуникативно-речевом акте.

В подавляющем большинстве текстовых реализаций модальные компоненты эпистемической семантики, реализующие когнитивные установки знания или мнения говорящего, занимают коммуникативно выделенные абсолютно начальные или конечные синтаксические позиции в предложении-высказывании. Первое место в предложении для не субъектных компонентов вообще традиционно связывается в немецкой грамматике с коммуникативно-смысловой акцентированностью членов предложения, занимающих его [8, с. 255–261; 1, с. 342–376]. Начальное или конечное местополо-

жение модальных компонентов отражает прежде всего их особую коммуникативно-информационную нагрузку в структуре сообщения; см. примеры их акцентированной конечной позиции, в том числе во втором предложении с обособленным модальным компонентом: Der fiebernde Stabsarzt kann nicht mehr; er sieht den reglos und langgestreckt auf dem Operationstisch liegenden Menschenkörper doppelt. 'Und wenn ich den Arm erst heute abend abnehme, stirbt der Mann **vielleicht**. Und wenn ich den Arm erst morgen früh abnehme, stirbt der Mann **sicher** (Frank, 124); "Sie ist sehr nett und gar kein Blaustrumpf, **sicher nicht**. Sie ist auch nicht Lehrerin geworden" (Hesse, 73).

Но даже тогда, когда модальные компоненты находятся в середине предложения, благодаря компенсирующему членящему действию интонации (а на письме — часто знакам препинания), они всегда коммуникативно нагружены. Встраиваясь в середину предложения, модальные компоненты членят его как бы на две части и создают, тем самым, эффект локального коммуникативного «разрыва» и напряжения в подаче информации. Такой речевой стратегии ведения коммуникации сопутствует, как представляется, побочный прагматический эффект акцентирования точки зрения автора речи, реферирующей к знаниям и мнениям говорящего по поводу предмета речи. Например: Zum Glück kein Feuer, man musste den Leuten sagen, sie dürfen sich abschnallen, die Tür war offen, aber es kam **natürlich** keine Treppe angerollt, wie man's gewohnt ist... (Frisch, 25); Der Umgang mit dem gescheiterten und wohlgesitteten Mädchen hat mir **in der Tat gewiss** wohlgetan, und mir schien, es würde auch ein tieferes und näheres Verhältnis mit ihr... finden (Hesse, 96).

Наиболее яркие случаи такого использования модальных компонентов в срединной позиции представляет собой их обособленные варианты; ср.: «Nein, nein, ich habe, **gewiss, ganz gewiss** — kein Fieber... ich habe mich selbst gemessen jeden Tag seit ... seit diese Ohnmachten kamen" (Zweig, 44); Aber schon fuhr sie dazwischen. Die Stimme war jetzt ganz scharf — **und bestimmt** — wie am Kommandoplatz (Zweig, 47).

Обусловленность местоположения модальных компонентов коммуникативно-прагматическими причинами не исключает, однако, того факта, что оно может быть связано в целом ряде случаев со структурно-грамматическими и денотативно-смысловыми факторами. Опираясь на обследованный фактический материал,

можно утверждать, что модальные эпистемические компоненты в известной мере обнаруживают в своем местоположении определенные, четко выраженные тенденции к фиксированному порядку расположения в предложении, поскольку им присуще частотное употребление в начальной и конечной позициях. Это расположение модальных компонентов относительно других составляющих соответствует их статусу логических предикатов знания и мнения, формирующих свою собственную «сферу действия» с катафорической/анафорической направленностью на соседствующие компоненты. Тем самым они несут на себе помимо коммуникативно-акцентирующей структурную и смысловую функции в организации синтаксического построения, дополнительно скрепляя его как целое.

Структурно-грамматическая и логико-грамматическая функции являются для модальных компонентов как детерминантных членов предложения вполне закономерными. А отмеченные выше типы порядка слов в предложениях с их включением соответствуют их типичному положению в синтаксической организации, нацеленному в конечном итоге на актуализацию для адресата точки зрения самого говорящего на эпистемический статус сообщения.

Таким образом, местоположение модальных компонентов, а также конкретный способ их включения в синтаксическую организацию предложения-высказывания (обособленный / необособленный) почти всегда находится под воздействием коммуникативных факторов. Однако это вовсе не значит, что их место в линейном ряду высказывания не зависит от структурных и денотативно-смысловых закономерностей в построении немецкого предложения. Для обсуждаемых компонентов могут быть установлены общие правила порядка слов. Эти правила отражают их грамматические связи в составе целого и опосредуют в общем виде их семантико-синтаксическое положение как детерминантных членов с всеохватывающим действием на прочие составляющие целостной структуры и типичную для них функциональную нагрузку компонента, «разрывающего» основную линию повествования и формирующего параллельное основной линии изложения авторизованное сообщение.

Литература

1. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М.: Изд-во литературы на иностр. языках, 1955.
2. Арутюнова Н.Д. Перформатив // БЭС. Языкознание / глав. ред. В.Н. Ярцева. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.
3. Богданов В.В. Иллокутивная функция высказывания и перформативный глагол // Содержательные аспекты предложения и текста: межвуз. сб. науч. трудов. Калинин: Изд-во Калининск. гос. ун-та, 1983.
4. Добровольский Д.О., Падучева Е.В. Высказывания от 1-го лица: семантика и прагматика // Логический анализ языка: Моно-, диа-, полилог в разных языках и культурах. М.: Индрик, 2010.
5. Нефёдов С.Т. Коммуникативная модальность и эпистемические модальные компоненты в немецком языке (синхрония и диахрония). СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007.
6. Остин Дж. Перформативы — констативы // Философия языка: пер. с англ. / ред.-сост. Дж.Р. Сёрль. М.: Едиториал УРСС, 2004.
7. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. 3-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2004.
8. Строева Т.В. О прямом и обратном порядке слов // Памяти академика Л.В. Щербы. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1951.

Источники примеров

- Frank L.* Der Mensch ist gut. Novellen. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1967.
- Frisch M.* Homo Faber. Moskau: Tsitadel-Treid, 2004.
- Hesse H.* Schön ist die Jugend. Erzählungen. Frankfurt/M: Fischer Taschenbuch Verlag, 1977.
- Zweig St.* Brief einer Unbekannten. Moskau: Jupiter — Inter, 2004.

КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА НЕМЕЦКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В средневековом искусстве Германии важное место занимала книжная иллюстрация. Искусство миниатюры достигло бурного расцвета уже в эпоху каролингов. По указу Карла на территории Германии создавались так называемые скриптории — мастерские при монастырях, основной задачей которых было изготовление иллюстрированных, богато украшенных рукописей. Уже в каролингское время начали складываться различные школы книжной миниатюры, которые, по традиции, различают по названиям скрипториев.

С IX в. почти на 200 лет каролингский минускул стал почти единственным типом письма для книг и документов. В каролингском минускуле прописные буквы впервые сознательно отделяются на письме от строчных. Основным материалом для создания книг служил в средневековье пергамен. Пергаменом называли тонко выделанную ослиную (или телячью) кожу. На раннем этапе его иногда красили, обычно в пурпур, писали золотом или серебром. В библиотеке Упсальского университета хранится Библия, переведенная на готский язык епископом Ульфиллой, представляющая собой крупнейший памятник тогдашней германской письменности. Текст написан сверкающими серебряными и золотыми красками на пурпурном пергамене, а обложки изготовлены из массивного серебра. Известны молитвенники, написанные золотом на черном пергамене. Манера красить пергамен перестала практиковаться лишь в XIII в. Из-за постоянной нехватки пергамена широкое распространение получили так называемые палимпсесты — пергамены, с которых был стерт, соскоблен первоначальный текст, а затем написан новый. Монахи уничтожали труды Тита Ливия, Вергилия, Евклида и заменяли их сочинениями отцов церкви.

Пространственная глубина, эффекты света и перспективы исчезали, изображения делались более плоскими, возросла роль линии, контура. Движение развивается в дрожащем, прерывистом ритме. Композиция часто строится на основе пересекающихся извилистых линий. Своей кульминации этот стиль достиг в первой трети XI в. В середине XI в. изображения становятся более монументальными, для них характерна величественность осанки и репрезента-

тивность образа. Начинаются поиски закономерной, уравновешенной композиции, рисунок становится более спокойным.

Для немецкой миниатюры X–XI вв. характерно развитие отдельных от текста декоративно-изобразительных страниц, которых в обычном экземпляре евангелия бывало от двух до шести. В отличие от рукописей предшествовавшего времени текст манускриптов романского типа оставался спокойным, вся декоративная сторона воплощалась в инициалах, которые обычно исполнялись в тонах золота и серебра. С точки зрения стиля, миниатюра уже приближалась к формам готики. В рукописях светского содержания люди часто изображены в костюмах своего времени. Фигуры становятся удлиненными и гибкими, позы не лишены грациозности, одежды ниспадают красивыми складками.

В большинстве рукописных книг текст располагался в два столбца, и обрамлялся тонкими бледными линиями. Размещение текста на листе придавалось большое значение. Площадь полей и текста распределялась в соответствии со строгими правилами композиции. Непременно оставлялось место для миниатюр, инициалов, виньеток и других элементов украшения. И только после этого за работу брался каллиграф-переписчик, следуя особым правилам письма. Оформлял книгу не сам каллиграф, а другие специалисты — миниаторы, рубрикаторы, иллюминаторы. Миниатор — художник, рисовавший цветные иллюстрации, миниатюры, инициалы; заголовки и отдельные строки (рубрики) раскрашивал рубрикатор. Иногда инициал или миниатюру иллюминировали сусальным золотом. Мастерами оформления сначала были монахи, но с XIII–XIV вв. все чаще этим стали заниматься художники-миряне. Инициалы, орнамент на полях, декоративные рамки, маленькие картинки и самостоятельные картины на целую страницу — все это были элементы декоративного оформления средневековой рукописной книги. Заглавного или титульного листа книги не имели. Текст начинался словами: «Incipit liber» («Начинается книга») или вообще без них. Назначением инициалов, которые появились в раннем средневековье и сначала назвались «*capitales*», было украшение книги.

Большее употребление уже в раннем средневековье получили золотые и серебряные краски. Существовали целые книги, написанные золотом, серебром, либо красной краской. Естественно,

что такие книги ценились особенно дорого. Новые мысли в тексте всегда выделяли красной краской. В средние века красной делали всю первую (иногда и вторую) строчку абзаца. Еще более украшал рукопись инициал — большая заглавная буква. Его богато расписывали растительным, травным и иным орнаментом. Нередко орнамент выходил за пределы инициала и захватывал всю страницу, художественно обрамляя ее. Особенно часто такие украшения встречаются на рукописях позднего средневековья. К концу XIII в. цветовой ряд стал расширяться. Появились зеленые и желтые цвета, исчезли интенсивные, яркие краски. Популярными стали полтона и серые, светло-коричневые и сиреневые цвета.

С развитием средневековой культуры совершенствовалось и искусство оформления книги, разнообразились средства украшения. Иногда декоративные элементы оттесняли текст на второй план. Экземпляр Библии, созданный во Франции в XII в. (*Bible moralisee*), содержал пять с лишним тысяч миниатюр. Помимо богато разукрашенных инициалами, порой представлявших собой целые миниатюры, витиевато оформленных заголовков, рубрикации важнейших разделов и букв, многоцветных иллюстраций мастера начали украшать даже поля книги, охватывая текст растительным орнаментом или другой декоративной рамкой. Миниатюры зачастую обрамлялись большим количеством декоративных элементов. Сначала это были драконы, фантастические птицы, аканф, а затем (со второй половины XIII в.) листочки плюща, дуба или винограда. Нередко миниатюры проникали даже внутрь инициалов, для которых специально создавался золотой фон. Еще позже возник и особый вид инициального орнамента — головки, полуфигуры и фигурки людей, животных, птиц, прихотливо переплетенных между собой. Под влиянием восточного и местного народного прикладного искусства средневековые художники нередко вплетали в книжный орнамент мотивы народных сказок, изображения мифических существ (так называемый звериный орнамент). Размер средневековой книги варьировался от гигантских фолиантов до крохотного *duodесо* (в одну двенадцатую). Лишь литургические книги всегда изготовлялись крупным форматом.

Большое значение для обилия украшений имело предназначение той или иной книги. Так предназначенная для мирян Псалтырь украшалась особо обильно. Самим псалмам в ней часто пред-

шествовал целый цикл миниатюр. Не менее богато украшались и книги, изготовленные по заказу императоров, королей и представителей знати, как светской, так и церковной. К тексту часто прилагались неканонические книги, выдержки из трудов отцов церкви в качестве прологов к отдельным книгам Ветхого и Нового завета. И, напротив, мисалы (литургические книги, предназначенные для священника, с полным текстом мессы, хоровыми партиями, календарем, литаниями и пр.) иллюстрировались довольно скупо. Иногда они были украшены лишь медальонами в виде знаков зодиака внизу страницы и верхними медальонами с изображениями сельскохозяйственных занятий по месяцам. Крышки переплета делались из дерева, обтягивались кожей, а особо ценные книги украшались окладом из золота, серебра, драгоценных камней или слоновой кости.

Темы и сюжеты таких книг, начиная со времен правления Карла Великого, были теснейшим образом связаны с христианством. Эти же темы определяли как содержание, так и иллюстрации книг, предназначенных, в основном, для нужд богослужения. Первые книги изготовлялись, как правило, для королей и их приближенных и становились в дальнейшем собственностью монастырей в качестве подарков либо пожертвований. Они представляли собой уникальные произведения искусства, будучи исключительно предметом роскоши.

К 789 году по приказу Карла Великого монах Годескальк создает Евангелие, где на пурпурном фоне золотыми и серебряными буквами увековечен приезд Карла в Рим в 781 году. Хроники утверждают, будто эти два цвета символизировали для Годескалька красоту небес и вечной жизни.

Разнообразные формы, богатство цветовой гаммы позволяют предположить, что уже в начале IX в. существовало несколько школ по изготовлению рукописей. Первая из них, наиболее характерная, берет свое начало, по мнению исследователей, примерно в 803 году, когда было создано «Евангелие Ады», написанное для аббатисы Ады. Ее называют Школой рукописи Ады, или Школой Годескалька.

Стиль Годескалька несет на себе отпечаток геометрически плоской трактовки форм, а в орнаменте большую роль играет сложное

ленточное плетение. Античное влияние заметно в изображении человеческих фигур и лиц, очерченных мягкими округлыми линиями. Наиболее распространенным видом изобразительной миниатюры того времени являются композиции, представляющие евангелистов с книгой или рукописью и пером в руках. Евангелисты Годескалька величественны и благообразны. В дальнейшем еще более ясно наметились характерные черты этой школы — стремление к монументальной значительности образов, насколько это было возможно в миниатюре, к избытку и великолепию декоративных мотивов, широкому применению пурпура и золота.

Центром создания иллюстрированных рукописей времен правления Карла Великого был Аахен с двумя ведущими мастерскими. Характерным для одной из них были изображение на пурпурном фоне и обильное применение золота. Из стен этой мастерской вышли уже упоминавшиеся «Евангелие Годескалька» и «Евангелие Ады». В отличие от «школы Годескалька» «школа евангелия Карла Великого» переносила в живопись образы римского искусства. Ее евангелисты, одетые в белые тоги, — типичные римляне, скорее римские риторы, чем христианские подвижники. Пластическая выпуклость форм, мягкая живопись фона, строгое чувство композиции и глубина пространства, заключенного в прямоугольную рамку миниатюры, — все это создает особый эффект.

В работах второй мастерской можно отметить стремление к передаче воздуха и пространства, изображения евангелистов в спокойных позах на фоне пейзажа, в который включены архитектурные мотивы. Из стен этой мастерской вышли «Коронационное Евангелие» и «Венский кодекс». Торжественные, заключенные в богато орнаментированные рамки миниатюры этих книг часто изображают читающих или пишущих евангелистов, на коленях которых или на специальных пюпитрах лежат рукописи. Они сидят в спокойных позах на фоне пейзажа, в котором много воздуха и глубины. Миниатюры аахенских Евангелий как бы воскрешают давнюю эллинистическую традицию с мягкой, живописно-пластической трактовкой фигур.

При преемниках Карла Великого мастерские, изготовлявшие роскошные рукописи, возникают в королевских резиденциях и важнейших церковных центрах. Между 816 и 835 годами в аббатстве Отвиле было переписано и украшено рисунками евангелие

для поднесения архиепископу реймскому Эбо. Если в изображении художников других школ евангелисты погружены в глубокое созерцательное раздумье, то в евангелии Эбо они охвачены странным беспокойством; глаза их широко открыты, пальцы судорожно держат перо, волосы всклочены, одежда будто дрожит в бесчисленных складах. Таким же будто вибрирующим движением пронизаны декоративные фигурки охотников и строителей, ветки деревьев и даже крыши домов.

К середине IX в. можно говорить о крупных мастерских, расположенных в монастыре святого Мартина в Туре и аббатстве Мармутье. Именно здесь получила дальнейшее развитие изобразительная миниатюра. Специальностью турской школы было иллюстрирование Библий. Иллюстрации часто являлись миниатюрными произведениями живописи с подробно разработанным сюжетом, продуманной композицией и попыткой передать портретное сходство, в том случае, если речь шла об изображении монархов. К самым известным рукописям этих мастеров относятся «Евангелие Лотаря» и «Евангелие Карла Лысого». Одна из страниц (высотой 44 см) целиком занята миниатюрой, изображающей торжественный акт поднесения книги императору Карлу Лысому аббатом Вивьеном во главе процессии монахов. Окруженный придворными, стражей и духовенством Карл восседает на троне с величием, достойным римского императора. Несмотря на отсутствие верной перспективы, в этой сцене есть много реального. Перед нами характерные франкские типы, изображенные, правда, в римских доспехах. Для самого же Карла Лысого был изготовлен «Золотой кодекс» с богато украшенным переплетом.

Самой известной рукописью каролингского периода можно считать «Утрехтскую Псалтирь», содержащую более 150 миниатюр, каждая из которых соответствует определенному псалму. Перед нами ранее не встречавшийся чисто графический тип миниатюры, где все выполнено пером и чернилами. Это беглые рисунки на полях, иногда не имеющие прямого отношения к содержанию, сделанные рукой переписчика под непосредственным впечатлением текста. Поток мелких фигур, вышедших из-под пера художника, завивается в хитрый узор, своего рода каллиграфический орнамент. Зачастую художник трактует образные метафоры текста буквально, руководствуясь в основном своими чувствами.

Все иллюстрации, изображающие сцены сражений, охоты, пиров, дают образную интерпретацию текстов. Едва ли не впервые в книгах такого рода здесь встречаются мотивы сельских работ — сев, жатва и т. д. Интерес к окружающему миру проявляется в реальности архитектуры, остро схваченных фигур животных. Эскизность рисунка, трепещущая, нервная линия придают иллюстрациям особую динамичность и взволнованность.

Новый этап в средневековом искусстве — это Оттоновское возрождение (X–XI вв.). Название связано с правившей в то время династией Оттонов. В эту эпоху Священная Римская империя достаточно тесно взаимодействовала с Византией, наследник Оттона даже женился на византийской принцессе, впоследствии ставшей императрицей. Оттоновские рукописи — воплощение пышного, истинно имперского стиля.

Около середины X века в книжной живописи, как и в живописи вообще, намечился переход к новому стилю. Исчезают светотень и глубина, характерные для некоторых памятников каролингской миниатюры, на их место постепенно приходит плоскостное, условное изображение. Все чаще встречается золотой фон. Основная тенденция идет в направлении усиления символического содержания образов и углубления религиозного чувства. На страницах оттоновских рукописей все чаще можно встретить пророков и евангелистов с аскетическими фигурами, суровыми лицами, напряженными позами.

Главным художественным центром оттоновского времени можно считать скрипторий аббатства Рейхенау на Боденском озере, расцвет которой относится к периоду с 970 по 1125 годы. Влияние этой школы отмечается в работах практически всех локальных школ книжной живописи на территории Германии. Книги, вышедшие из ее стен, отличаются роскошными переплетами из золота, драгоценных камней и слоновой кости, а также особенная законченность и совершенство. В самих миниатюрах уже заметны ярко выраженные индивидуальные черты мастеров. Известным заказчиком, сыгравшим в развитии живописи этой школы немалую роль, был канцлер Экберт, для которого около 900 года был создан «Кодекс Экберта». Он содержит помимо титула, посвящений и портретов евангелистов 52 иллюстрации к Священному писанию. Один из мастеров, работавших над его созданием, известен как «мастер собрания

писем папы Григория». Его миниатюры отличаются монументальностью и почти классической пропорциональностью. В стенах мастерской Рейхенау появилась также известная «Люитгардгруппа», названная по имени заказчика, отличающаяся сочетанием сложнейшей символики, наглядности и экспрессивности и считающаяся едва ли не основным произведением оттоновской книжной живописи. Изображенные в ней евангелисты выглядят страстными пророками, несущими свое откровение в мир. К началу XI в. живописные тенденции этой школы, говорящие о знакомстве с манерой позднеантичной иллюстрации, сменяются приемами линейно-плоскостного стиля. Ярким примером таких исканий можно считать «Книгу Евангельских чтений Генриха II», созданную в начале XI в.

Со второй четверти XI в. мастерская Рейхенау уступает свое ведущее положение школе Трира, центром которой стал монастырь Эхтернах. В рукописях, созданных в нем, появляются декоративные страницы, связанные с внутренним делением текста и украшенные изображениями, подражающими восточным тканям. Исчезают окрашенный пурпуром пергамент каролингских рукописей, золотой шрифт и появляется декоративная разработка шрифта, сосредоточенная в инициалах, исполненных обычно золотом и серебром. Шедевром трирской школы принято считать миниатюру с изображением Оттона II и четырех женских фигур, олицетворявших подвластные императору Рим, Галлию, Германию и покоренные императором славянские земли. Для этой работы характерны удивительная гармония красок и подлинное живописное единство.

В монастырских школах Регенсбурга, Кёльна и Хильдесхайма очевидной становится склонность к символизму. Если в Регенсбурге были популярны орнаментальный фон и пышные сцены коронаций, то в Кёльне преобладали малые формы, яркие краски, богатая отделка. Именно в Кёльне было написано «Евангелие Оттона III» с портретом императора. Наибольшего расцвета школа в Регенсбурге достигла во время правления Генриха II. Созданное между 1002 и 1025 годами «Евангелие аббатисы Уты» выходило за привычные рамки по богатству мотивов и разнообразию форм.

К XII в. значительно усложнилась система изображения, центром сложной орнаментальной композиции становятся люди, фон разделен на отдельные поля с находящимися в них много-

численными фигурами. Орнаментика играет в этот период вообще особую роль: в рамки буквы вплетаются сцены и образы из легенд, басен, мифов. Сами буквы представляют собой сплетение из фигур фантастических существ, людей, растений. Одним из самых ярких произведений, где четко просматривалось новаторство, можно считать «Хортус деликиарум» (Garten der Köstlichkeiten). В 1167–1175 годы аббатиса монастыря под Страсбургом Герарда фон Ландсберг писала и иллюстрировала это произведение как своеобразную энциклопедию, компендиум всего, что могло быть полезным для вверенных ее попечению монахинь. Иллюстрировано буквально каждое положение, причем рисунок играет не меньшую роль, чем сам текст. Этому произведению присущи в полной мере свежесть, наивность, богатая фантазия составителя, а также меткость выражения и чувство реальной жизни.

Искусство книжной миниатюры романской эпохи особенно значимо потому что по нему можно изучать историю изобразительного искусства Средних веков, обнаруживать различные стилевые направления, следить за развитием иконографии различных сюжетов и даже находить отражение различных событий политической и духовной жизни средневековой Европы. Собственно романское книжное искусство отличается большим разнообразием стилей, национальных и региональных школ. Оно не связано, как искусство предыдущих эпох, с некоей единой традицией, единым кругом заказчиков, в нем выделяется множество различных направлений.

Рубеж XII и XIII вв. стал новым витком в развитии книжной живописи. Распространение грамотности, влияние рыцарской культуры и куртуазности вызвали к жизни новые сюжеты, новое содержание. Появляется светская литература, исторические сочинения, сборники легенд и рыцарские романы. Появляются иллюстрированные хроники, правовые сборники. Иллюстрируются произведения Генриха фон Фельдеке, Вольфрама фон Эшенбаха, Вернера фон Тегернзее. В начале XII в. создан один из самых известных памятников книжной иллюстрации того времени — антифонарь для монастыря в Зальцбурге. В нем выполнены около 60 изображений из жизни святых. В основном это рисунки красным или черным пером на цветном фоне (Federzeichenstil). На рубеже веков в одном из баварских монастырей появилась зна-

менитая «Кармина бурана», где миниатюры были окружены орнаментом из деревьев и трав, разнообразными животными и птицами.

Замечательным памятником эпохи является книга любовных песен, так называемая Рукопись Манессе, созданная в первой половине XIV в. в Гейдельберге. Перед читателем предстают турниры и охоты, военные и любовные сцены. Все они представлены в новой изобразительной манере, сочетающей орнаментальную красоту пятен и линий с реальными жизненными наблюдениями.

С уверенностью можно говорить о том, что средневековое искусство книжной миниатюры в Германии явилось началом длинного исторического процесса, который привел к дальнейшему расцвету книжной живописи.

Литература

1. *Дмитриева Н. А.* Краткая история искусств. Вып. I. От древнейших времен по XVI век. М.: Искусство, 1986.
2. *Левандовский А.* Карл Великий. Через империю к Европе. М.: Сортаник, 1995.
3. *Das hohe Mittelalter. Besichtigung einer fernen Zeit.* Luzern: Faksimile-Verlag Luzern, o. J.
4. *Souchal F.* Kunst im Bild. Das Hohe Mittelalter. Würzburg: Naturalis Verlag, o. J.
5. *Hans H. Hofstätter.* Kunst im Bild. Spätes Mittelalter. Würzburg: Naturalis Verlag, o. J.
6. *Rothe E.* Buchmalerei aus zwölf Jahrhunderten. Berlin: Union Verlag, 1966.
7. *Tjashelow W.* Kunst des Mittelalters. Mitteleuropa. Westeuropa. Nord- und Südeuropa. Dresden: VEB Verlag der Kunst; Moskau: Verlag Iskusstwo, 1981.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЛАСКАТЕЛЬНЫХ ПРОЗВИЩ

Антропоцентрический вектор современных лингвистических исследований предполагает обращение к языковым явлениям и формам, в которых отражается то, как человек концептуализирует окружающую его действительность, и прежде всего, себя. В этой связи ласкательные прозвища представляют собой весьма любопытный объект исследования, вызывающий интерес лингвистов разных стран, например, им посвящён проект университета г. Аугсбурга «Kosenamen in Paarbeziehungen» (<http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/kosenamen/>) [1].

Объектом рассмотрения в данной статье стали лексические единицы с семантикой ласкательности (иногда уменьшительности), используемые как аппелятивы (ср. русс. *солнышко*, *зайчик*, *киса*), что позволяет говорить о них как о прозвищах.

Как языковая категория ласкательность указывает «на наличие в слове значения ласки или нежности по сравнению со словами, от которых соответствующее слово образовано» [2]. Диминутивом, вслед за В. П. Шадеко, мы называем «любую номинацию от лексемы до словосочетания с актуализированной семой малого размера, «малости» или «уменьшительности» [3]. Семы ласкательности и уменьшительности во многих наименованиях подобного рода совмещаются, однако так происходит далеко не всегда. В оценочном плане всем рассматриваемым наименованиям присуща положительная оценка.

Ласкательные прозвища обычно даются лицам, которые находятся между собой в тесных родственных, дружеских или интимных отношениях, например между родителями и детьми, друзьями, супружескими парами и влюблёнными. В номинативном аспекте в основном речь идёт о вторичной номинации, например, при использовании во вторичной функции наименования зоонимов.

Самым популярным ласкательным прозвищем в немецком языке, по данным опросов [4], является *Schatz* (букв. «сокровище»). Однако подобное положение вещей устраивает далеко не всех — тем, «кто влюблён, но не обладает творческими способностями, чтобы

не пользоваться банальным «Schatz» адресован интернет-ресурс Штефана Радо «Kosenamen» [5], собрание насчитывает на данный момент 1956 лексических единиц — от весьма экзотических *Y-Chromosömchen*, *Lotusblume*, *-blüte* до общеупотребительных *Schatz*, *Mäuschen*, *Liebling*.

Несмотря на то, что толкование отдельных примеров вызывает сомнения, ресурс оказывается важным источником «живого» языкового материала, предлагаемого носителями языка, и даёт определённое представление о тенденциях в этой сфере лексики. Кроме того, он содержит весьма полезные указания относительно гендерной адресованности той или иной единицы. Материал структурирован по алфавитному принципу, опция поиска даёт исследователю новые возможности оценки и обработки языкового материала, послужившего источником примеров в этой статье.

В ономаσιологическом плане ласкательные прозвища в этом собрании обнаруживают большое разнообразие. В целом можно выделить следующие восемь понятийных групп (в порядке частотности примеров).

1. Названия животных, птиц и насекомых

Äffchen, *Ameisenbär*, *Bärchen*, *Biber*, *Eichhörnchen*, *Eselchen*, *Frosch(i)*, *Häschen*, *Hase*, *Hasi*, *Hengst*, *Henne*, *Igel(chen)*, *Kätzchen*, *Katerle*, *Katerchen*, *Löwe*, *Maulwurfbaby*, *Maus*, *Mausi*, *Murmel*, *Rehlein*, *Tiger*, *Zicke*, *Zicklein*, *Entchen*, *Spatz*, *Taube*, *Vögelchen*, *Biene*, *Fliege*, *Schmetterling*, *Schnecke*, *Würmchen*.

Самыми популярными зоонимами в сфере ласкательной лексики оказались *Maus* (143 единиц), *Bär* (126 единиц), *Hase* (70 единиц) [6]. Эти «архиосновы» соединяются друг с другом в самых причудливых комбинациях и образуют следующие композиты: *Hasenbär*, *Hasibär* (*Hasibärle*), *Hasimaus*, *Mausebär*, *Schatz(i)bär*, *Schatzihaselein*, *Schatzimaus*, *Schatzimausibumsibärle*.

В рассматриваемых примерах обнаруживаются следующие определительные композиты с зоонимическим компонентом: *Bettmaus(i)*, *Bussibärchen*, *Frühlingsbienchen*, *Hoppelbärchen*, *-häschen*, *Nasenbär*, *Märzhase*, *Tittenmaus*, *Waschbär*, *Wickelbär*, *Wiesenmaus*, *Wuschelschmusebär*, а также фантазийные наименования, состоящие из нескольких основ, обозначающих несуществующих животных типа *Mausebärlebienchen*, *Spatzemaus*, *Tigermaus*, *-hase*.

2. Названия сладостей

Butterherzchen, Gummibärchen, Keks, Kekskrümmelchen, Marzipanärschchen, Mokkaapralinchen, Sahneteilchen, -törtchen, -trüffelchen, Zimttorte, -schnecke.

Весьма многочисленны композиты с первым компонентом *Honig-* (27 единиц): *Honigbär, Honigbiber, Honigbienchen, Honigblume, Honigblüte, Honigbusen, Honighase, Honigkuchenbärchen, Honigkuchenkuschelkeks, Honigkuchenpferd, Honigkuchenpferdchen, Honigmäulchen, Honigmaus, Honigmelönchen, Honigpo, Honigpupserchen, Honigschnecke, Honigschnute, Honigsemmel, Honigstute.*

В собрании нами обнаружено примерно столько же сложных слов с основой *Zucker* (26 единиц); превалируют композиты, в которых *Zucker-* является первым компонентом, вторым могут быть названия животных: *Zuckerbienchen, -häschen, -maus, -tiger, -zickchen* либо соматизмы: *Zuckergoscherl, -mäulchen, -popo, -schnäützchen.*

В примерах из этой понятийной группы мы видим прилагательное *süß*, которое подвергается субстантивации *Süße, Süßer*, (диал. *Süssa*), а затем суффиксации: *Süssli, Süßchen, Süßi, Süßling*, а также композиты с компонентом *süß-*: *Rübensüßchen, Supersüße, Süßkind, Süßmausgesicht, Süßpuffel, Süßspatz, Süßwasserperle, Zuckersüßer.*

3. Названия драгоценных металлов, камней и минералов

Edelstein, Goldstück, Jadestein, Juwel, Perle.

Наиболее частотными примерами в этой группе являются сложные слова с основой *Gold* (14 единиц): *Goldengel, Goldfasan, Goldfederchen, Goldhamster, Goldlöckchen, Goldplätscherperlchen, Rauschgoldengel, Herzgoldkirsche.* В собрании есть также несколько определительных композитов с компонентом *Silber*: *Silberfischle, Silberlöckchen.*

К этой группе мы отнесли существительное *Schatz*, а также производные от него диминутивы: *Schatzi, Schätzili, Schätzchen, Schätzelein, Schätzgen, Schätzin, Schatzl, Schätzle.* Нами было обнаружено также немало композитов с компонентом *Schatz* как в качестве первого, так и второго компонента (29 единиц): *Schatzbär, Schatze/imann, Schatzihaselein, Schatzipupsi, Goldschatz, Liebhabeschatz, Tedydschatz.*

4. Названия частей тела (соматизмы)

Blauauge, Blauäuglein, Herz, Honigbusen, Knabberöhrli, Knubbelohr, Kartoffelknupsnase, Schmusebäckchen, Schmuseschulter, Sahnepo, Zartschenkel.

В функции *pars pro toto* в этой группе преобладают, что неудивительно, существительное *Herz* и его производные (21 единица), например диминутивы *Herzchen, Herzerl.* Представлением о том, что возлюбленная / возлюбленный заключён в сердце и владеет им, мотивированы наименования: ***Herzkönigin, Herzensprinz(essin), Herz(aller)liebste.***

Несколько неожиданны в функции ласкательных прозвищ слова *Herzschmerz, -kasperl* (сердцебиение), видимо, мотивированных представлением о том, что любовь причиняет боль, вызывает сердцебиение, однако их способность использоваться в качестве ласкательных наименований вызывает сомнения.

Значительно реже обнаруживаются единицы с компонентом *Auge*, например, *Augenstern(chen)* «зеница», *Plüschauge, Rehauge, Teddyauge* — лишь первый из этих примеров является подлинным соматизмом, другие единицы содержат его в качестве второй основы сложного слова. Сюда же, видимо, можно отнести и существительные, которые *описывают* объект любви или симпатии как наслаждение для глаз: ***Augenlicht, -weide.***

Еще одним соматизмом, который используется в ласкательных прозвищах, является *Mäulchen (Maul)* (9 единиц). Эти наименования описывают сладость уст любимого/ любимой: *Erdbeer, Honig-, Zuckermäulchen, Schokoladenmaul*, желанность поцелуя: *Kuss-, Sabbermäulchen.*

В собрании обнаруживается немало композитов с компонентом *-po, -pö (-poro, poröchen)*, который сочетается с основами из остальных понятийных групп: *Apfelporöchen, Elefantenporöchen, Elfenporöchen, Fluffiporo, Hasenporöchen, Honigpo, Knuddelporo, Mausepo, Schneckenporo, Zuckerporo.*

Многочисленны примеры сложных слов, в которых сочетаются соматизмы и зоонимы: *Mausebein, Bärenherz, Hasiherz, Mausihertzchen, Hasenohr, Hasiöhrchen, Mäusemundi, Hasenzähnnchen, Mausezahn, -zähnnchen, Rattenzahn, Spatzenzahn, Herzfrosch, Nasenbär, Nasenbärchen.* Последние три примера, вероятно, можно отнести

к группе зоонимов, поскольку основной компонент сложного слова зооним, а соматизм, вероятно, описывает какую-либо выдающуюся часть тела возлюбленного / возлюбленной.

Говоря об этой группе наименований, необходимо также упомянуть единицы, содержащие соматизмы, относящиеся к животным: *Mauseschwänzchen, Puschi-Tatze, Rüsselchen, Igelschnäuzchen*.

5. Имена и названия сказочных персонажей, мифологических героев

Adonis (Adönchen, Bonsaiadonis), Amur, Einhorn, Elfchen, Elflein, Engel, Engelchen, Fee, Froschkönigin, Osterhase, Prinz, Prinzessin, Venus, Zauberer, Zauberfee, Zauberwesen.

Помимо перечисленных выше примеров к этой группе мы отнесли фантазийные названия: *Engelmaus, Elfleinporöchen, Zauberhase, -maus*.

6. Названия астрономических тел

Abendstern, Glückstern, Mond, Morgenstern, Sonne, Sonnenschein, Stern, Sternchen, Sterni, Sternschnuppe, Sternschnuppi, Traumschnuppe, Universum, Venus.

7. Названия цветов

Blümchen, Butterblume, -blümchen, Dotterblume, Gänseblümchen, Maiglöckchen, Mimöschchen, Rose.

8. Названия фруктов, ягод и их частей

Butterbirne, Erdbeere, Erdnusskernchen, Früchtchen, Pfirsichblüte, Pflaumchen.

Наименования из трёх последних групп в собрании немногочисленны, однако далеко не во всех случаях можно отнести некоторые из наименований к одной из перечисленных выше групп, например *Erdbeerengel, -maus, Marmeladenherz, Marzipanärschchen, Rehäuglein, Zimtfischchen, -tiger, -zicke*.

Как видно из приведённых выше примеров, по словообразовательной структуре среди них доминируют сложные слова или композиты. При этом они состоят не только из основ-существи-

тельных (см. многочисленные примеры выше), но и содержат в качестве первого компонента глагольные основы:

Knutsch-: *Knutschbacke, Knutschbär, Knutschbärchi, Knutschelch, Knutschibär, Knutschkissen, Knutschkugel (-kügelchen), Knutschkuh, Knutschmaus;*

Kuschel-: *Kuschelbärchen (-bärli), Kuschelbaum, Kuschelfee, Kuschelgesicht, Kuschelhase (-häschen), Kuschelheld/in, Kuschelkätzchen, Kuschelkeks, Kuschelküsschen, Kuschelmaus, Kuschelmonster, Kuscheltiger, Kuscheltigermäuschen;*

Schmuse-: *Schmusebär, Schmusebärchen, Schmusebärli, Schmuseflummi, Schmusehase, Schmusekater, Schmusekätzchen, Schmuseliebchen, Schmusemaus, Schmusemulle, Schmusemaus, Schmuseteddy, Schmusetiger, Schmusewuschelhopseknutscher.*

Количество компонентов в подобных композитах также различно — от двух до пяти в составе одного слова: *Zucker-süße-honig-kuchen-mirabelle*. Комбинаторика этих основ возможна самая неожиданная: *Engelteufel, Kuscheltigermäuschen, Kuscheltigerteddy, Schatzemausbär, Schatzibaby Maus, Schnukiputzihasi mausi*. Так, прозвище *Babyropohasentmann* (запись от 21.03.2007) является победителем в конкурсе «самое гадкое (ласкательное) прозвище» журнала «Maxim».

Нами был обнаружен один пример гибридного словосложения: *honeyspatz*.

Среди рассмотренных примеров, в том числе в составе композитов, распространена суффиксация, в которой участвуют уменьшительно-ласкательные суффиксы *-chen, -erl, -i, -lein, -li, -le: Liebchen, Bärchen, Hascherl, Scheckerl, Schmusi, Knutschli, Kussi, Fischlein, Märchenbärli, Leckerli, Fröschli, Tigerle, a* иногда и их сочетание: *Hasi+lein, Gänseblümelein+chen, Schatzi+li*. При этом самым «популярным» суффиксом является *-chen* (435 единиц), *-lein* значительно ему уступает (38 единиц). Любопытен пример суффиксации глагольной основы *kuschel-* (*kuscheln* — прильнуть, прижаться), которая присоединяет различные суффиксы (не только немецкие): *Kuschelchen, Kuschelette, Kuscheli, Kuschelinchen*.

Немало прозвищ-композитов представляют собой рифмованные сочетания основ: *Glupschipupschi, Hatzitatzi, Kuschelmuschel, Mausi-*

bautzi, Nussikussi, Schatzelmatzel, Schatzidatzi, Schatziputzi, Schmollydolly, Schmusibusi, Schnubbelbubbel, Schnuckipucki, Schnuffelwuffel.

Среди единиц собрания обнаружены заимствования из следующих языков: англ. *cookie, cutie, darling, honey, queen, sugar, sweetheart, sweetly, sweety*, франц. *chérie, fleur, joujou*, исп. *cariño, chica, corazón*, ит. *cara*, араб. *habibi*, турецк. *askim, canim*.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что ласкательные прозвища не являются застывшей, раз и навсегда сложившейся группой лексики. В этих наименованиях отражаются, с одной стороны, общечеловеческие закономерности восприятия человека человеком, а с другой — им присуще этническое своеобразие. Появление новых единиц связано с ролью языковой личности и определяется творческих потенциалом носителей языка.

Источники

1. Проект университета г. Аугсбург «Kosenamen in Paarbeziehungen» (<http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/kosenamen/>)

2. Толковый словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой (<http://www.slovopedia.com/15/203/1525437.html>)

3. *Шадеко В. П.* Диминутивы и аугментативы немецкого языка в ряду градуальных оппозиций: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1998. С. 3.

4. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1771338,00.html>

5. <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3943340,00.html>

6. Интернет-ресурс «Kosenamen»: <http://kosenamen.sradonia.net/index.php>

**ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕРЕВОДЧИКА
(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ Ф. СТЕПУНА “MYSTISCHE WELTSCHAU”)**

Как известно, *текстология* (также *критика текста*, *филологическая критика*) — дисциплина, изучающая тексты художественных произведений с целью их подготовки к публикации [7, с. 29–31.; 9, с. 3]. Сам термин «текстология» восходит к Б. В. Томашевскому — автору монографии «Писатель и книга», снабженной подзаголовком «Очерк текстологии» (1928).

Важнейшие задачи текстологии заключаются в том, чтобы установить точный текст произведения, кодифицировать и выявить его варианты и редакции, провести комментирование и т. д. Вопросы перевода интересуют текстолога в плане сверки текстов перевода и оригинала, атрибуции произведения, восстановления правильного (точного) переводного текста, которое в иных случаях возможно лишь благодаря обращению к тексту оригинала (или наоборот: реконструкция правильного оригинала осуществляется благодаря исследованию его перевода/переводов). Ряд соответствующих примеров приведен С. А. Рейсером [9, с. 72–73].

Переводчик литературного, литературно-критического и научного произведения сталкивается с подобными проблемами при подготовке перевода текста, авторизация которого по объективным причинам не возможна. Привлекая в процессе работы многие источники и издания информационно-справочного характера, переводчик доводит текст своего перевода до той степени точности, какого требует современный уровень знания материала (т. е. не только самого произведения в его взаимосвязях с творчеством автора, но также более широкого культурно-исторического, социального, литературного контекста). При необходимости переводчик предпринимает изменения, уточнения, исправления, и эти операции, производимые с авторским текстом, он обязан прокомментировать. Особое место в этой работе принадлежит исправлению ошибок, по тем или иным причинам оказавшихся в переводимом тексте. Все это требует от переводчика большой осторожности в окончательных решениях и тщательности проверок, не говоря уже о том, что его подход должен неизменно оставаться эвристическим, о чем не раз писали как теоретики перевода, так и мастера-

практики, в частности, К. Суренян [13, с. 242–243]. Очевидна сложность этих задач, которая начинается уже с вопроса: исправлять ошибки без каких-либо комментариев или с комментариями, или же не исправлять в тексте, а комментировать в метатексте ошибки и неточности, обнаруженные в тексте оригинала? Если же исправлять, то на основании каких именно документальных материалов? Вторая серьезнейшая проблема, которую решает переводчик, выступающий одновременно и как текстолог, это идентификация (выявление) и атрибуция (установление или подтверждение авторства) цитат, коль скоро они имеются в переводимом тексте, и их источников.

Говоря о переводе, мы исходим из понятия его полноценности, которое сформулировали А. В. Федоров и Я. И. Рецкер, выдвинувшие два принципиальных требования: перевод должен передавать содержание оригинала исчерпывающим образом и передавать его функционально равноценными средствами. Оба требования имеют непосредственное отношение к интенсивно изучаемому современной лингвистикой тексту явлению интертекстуальности — соотносительности данного текста с другим или другими, которая составляет одну из образующих текст категорий. Для создания перевода любого речевого произведения безусловно значима интертекстуальность в ее широком понимании — как базового феномена, свойства которого могут быть объяснены общими законами семиотических систем (по Ю. Кристевой [17, с. 334–348] и Р. Барту [2, с. 131 и далее]); значимость данного явления сказывается, прежде всего, на общей концепции и (основанных на ней) стратегиях перевода. Конкретные, практические переводческие решения зачастую проистекают из осмысления интертекстуальных связей произведения (его диалогичности, по М. М. Бахтину), в соответствии с интертекстуальностью, понимаемой «узко», т. е. в аспекте разнообразного взаимодействия текста и «чужого слова» (подробнее о широком и узком понимании интертекстуальности см.: [16, с. 187]).

Эти связи чаще всего выступают как маркированные, следовательно, осознанные и преднамеренные авторские ссылки на другие тексты либо на один (первичный) текст [16, с. 186–189]; разнообразие интертекстуальных связей исследовано Ж. Женеттом, Р. Лахманн, М. Пфистером, С. Хольтиус, Н. Фатеевой, В. Е. Чернявской и др.

Конкретные решения текстологических задач, возникающих при переводе, далее рассматриваются на примере произведения, которое характеризуется высокой степенью интертекстуальности (в ее узком понимании), иначе говоря, значительной частотностью интертекстуализмов, определенно влияющих на качества самого текста. Особенность же текстологических вопросов перевода состоит здесь в том, что немецкий текст — оригинал создан русским автором, а тема произведения обусловила особенно многочисленные и нередко сложно переплетающиеся интертекстуальные связи данного текста с некоторыми русскоязычными текстами его автора и текстами других авторов.

Книга Ф. Степуна «Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus: Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Belyj, Blok», включающая пять взаимосвязанных очерков, была впервые опубликована в 1964 году на немецком языке в Мюнхене. Это издание стало последним изданным при жизни трудом Федора Августовича Степуна (1884–1965), христианского мыслителя, культуролога, историка и литературного критика, автора ценнейших воспоминаний «Бывшее и несбывшееся» (1948) и двух романов, превосходного лектора и популяризатора знаний. Немецкий язык был усвоен им в детстве, усовершенствован в студенческие годы (в Гейдельбергском университете) и доведен до блеска за десятилетия жизни в эмиграции (1922–1965). Текстологические проблемы, связанные собственно с автопереводом, понимаемым как наличие двух творчески равнозначных текстов, которые текстологу необходимо сравнить между собой, чтобы выявить, например, авторскую правку исходного текста, в работе переводчиков не возникали, поскольку Ф. Степун не перевел, а написал книгу на своем втором «родном» языке, немецком, опираясь при этом на огромный опыт: до конца жизни ученый читал в Мюнхенском университете курс лекций по истории русской духовной культуры, на немецком языке им написано немало статей и сообщений.

Существенными с точки зрения лингвистических аспектов перевода оказались текстологические проблемы иного рода, которые можно подразделить на две группы. Во-первых, переводчики, работая над стилистической стороной перевода, стремились, по возможности, приблизиться к стилистике автора, доступной для изучения в текстах его сочинений, написанных на русском языке;

первоочередной задачей при этом было избежать употребления тех языковых (лексических, синтаксических и морфологических) форм, которые, не будучи нарушениями нормы современного русского языка, оказались бы в очерках Ф. Степуна модернизмами, т. е. анахроническими чужеродными «вставками»; эти вопросы представляют интерес, но остаются за рамками настоящей статьи.

Вторая группа проблем, которую мы далее рассмотрим, связана с явлениями интертекстуальности в ее узком понимании, поскольку переводчиками предпринималась идентификация, а иногда и атрибуция чрезвычайно многочисленных переведенных на немецкий язык и включенных в текст цитат, — как стихотворных, что представляло менее сложную задачу, так и прозаических. Это, прежде всего, цитаты из произведений пяти авторов, которым посвящены литературно-критические и философско-психологические очерки Ф. Степуна, но также из текстов многих и многих других писателей, мыслителей, мемуаристов, критиков и т. д., в их числе, например, Иван Бакунин и Федор Достоевский, Иван Киреевский и Козьма Прутков, Карл Каутский, Владислав Ходасевич, Евгений Замятин, Константин Мочульский, Владислав Ходасевич, Мария Бекетова, Корней Чуковский и мн. др. Уже из этого (далеко не полного) перечня можно заключить, что для книги Ф. Степуна характерно весьма интенсивное использование «чужого слова», как его понимает, вслед за М. Бахтиным, в частности, И. В. Арнольд: «включение в текст целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий» [1, с.351].

В Предисловии к своей книге Ф. Степун излагает цель исследования и используемый метод: автор стремится, не ограничиваясь только художественными произведениями, принять во внимание философские суждения представителей «Серебряного века», а также некоторые научные работы: «Я старался подвести солидный научный фундамент под свою работу, <...> применять метод социологии культуры». (Об этом методе см. статьи Ф. Степуна «Религиозный смысл революции» и «Структура социологической объективности» в кн.: Степун Ф. А. Чаемая Россия. СПб., 1999.) «...Если я, как исследователь «Серебряного века», могу предложить вниманию читателей нечто существенное, то связано это, конечно, с тем, что сам я жил в ту эпоху, был близко знаком или даже находился в дружеских отношениях с некоторыми из виднейших ее предста-

вителей <...> этот важнейший источник познания я и попытался открыть моим читателям <...> В отдельных случаях я глубже вдавался в биографические моменты <...> эти описания не надо считать простыми иллюстрациями, моментальными фотографическими снимками, помещенными посреди научного текста, которые при чтении можно опустить, не потеряв при этом ничего важного для исследования. <...> Все картины, воссозданные на страницах этой книги, иллюстрируют важнейшие особенности людей, о которых я пишу, <...> мои иллюстрации непосредственно входят в исследование» (Мировидение, 11–12).

В качестве пояснения отметим, что здесь и далее ссылки на русский перевод даются по принятой к печати Санкт-Петербургским издательством «Владимир Даль» рукописи: Степун Ф. А. Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма: Соловьев, Бердяев, Иванов, Белый, Блок / пер. с нем. Е. Крепак («Владимир Соловьев»), Л. Маркевич («Вячеслав Иванов»), Г. Снежинской («Предисловие»), «Николай Бердяев», «Андрей Белый», «Александр Блок»).

Суммируя, укажем, что во всех очерках имеются биографические разделы, а в трех, помимо того, разделы мемуарного характера (о чем автор говорит в «Предисловии»), и значительно большие по своему объему разделы, в которых предпринят подробный анализ произведений и прослеживается эволюция взглядов и творчества авторов. Как в плане содержания, так и с точки зрения стилистических характеристик, своеобразие книги Ф. Степуна состоит в соединении научного подхода философа и критика-литературоведа с повествованием мемуариста и биографа.

Анализ интертекстуальных включений — маркированных и не маркированных специальными, принятыми для этого средствами (о них подробнее см.: [16, с. 199–200]) — показал, что, несмотря на отсутствие проблемы автоперевода текста в целом, в ряде случаев сравнительно небольшие фрагменты текста, по-видимому, заимствовались Ф. Степуном из собственных сочинений, опубликованных на немецком языке, кроме того, он включает в текст переведенные на немецкий фрагменты из его же более ранних работ и дает в переводе отрывки большего или меньшего объема из произведений обсуждаемых русских авторов. Здесь существенно то известное обстоятельство, что при переводе *своего* произведения или даже его небольшого отрывка на иностранный язык, автор не

считает себя связанным оригиналом и допускает «правку» — вносит изменения, дополняя, сокращая или иначе изменяя свой текст.

Ф. Степун посвятил краткое послесловие тем, кто оказал ему помощь при подготовке рукописи, в частности, он пишет: «Исследование о Соловьеве я, перед тем как отнести в издательство, послал величайшему в Германии знатоку его творчества, профессору Людольфу Мюллеру. Он крайне внимательно прочитал рукопись и указал мне на целый ряд мест, требующих разъяснения для немецкого читателя...» (Мировидение, 441). Автором упомянут важный фактор, который современная наука о языке исследует в русле лингвистической прагматики, а именно, ориентированность авторской интенции на определенного адресата, строго говоря — на авторские же представления об адресате и его компетенции в каких-либо вопросах.

Постоянный учет немецкого адресата информации, т. е. ориентация на предполагаемые знания (или, скорее, отсутствие таковых) у немецкого читателя проявляется уже в авторском предисловии. Ф. Степун, в частности, ссылается на первый манифест символизма — лекцию Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», прочитанную в 1892 и напечатанную в 1893 году. Излагая Мережковского, он пишет и о натурализме, который представляли писатели, группировавшиеся вокруг горьковского издательства «Знание»: «Das Entscheidende, das er zu sagen berufen war, hat er bereits im Jahre 1892 in seinem Buch "Über die Gründe des Verfalls und der neuen Strömungen in der modernen russischen Literatur" ausgesprochen: Der russische Naturalismus ist tot» (MW, 7). Между тем, издательство было основано только в 1898 году, Горький руководил им еще позднее. Дело, скорее всего, в том, что, мысленно возвращаясь в ту пору и рассматривая тогдашнюю литературную ситуацию с более чем полувековой дистанции, Ф. Степун, вероятно, предполагал уже не актуальным для своих немецких читателей в 60-х годах XX в. небольшое расхождение в несколько лет.

Полагая (справедливо ли — неважно), что в его книге немецкая читательская аудитория впервые познакомится с таким явлением культуры, как русский «Серебряный век», Ф. Степун иногда не считает необходимым приводить точно переведенные цитаты из произведений, на которые ссылается (а зачастую обходится и без

точного указания источника), но дает, заключив в кавычки, их вольный перевод, либо сокращенный, либо, напротив, дополненный уточняющими и поясняющими ремарками, которые, однако, не оговариваются специально и не помещаются, например, в угловые скобки. В таких фрагментах текста явственны черты изложения или пересказа. Помимо упомянутых выше случаев автоцитации, когда Ф. Степун излагает или приводит как немаркированные цитаты отрывки из своих ранее опубликованных сочинений, обнаружены также немаркированные и в ряде случаев неточные цитаты из текстов других авторов.

Эти моменты заслуживают пристального внимания, поскольку каждый из них потребовал определенного переводческого решения; на наиболее существенных остановимся подробнее.

1. Исправления

А) Исправления, предпринятые при переводе *авторского текста* Ф. Степуна. Их можно подразделить на два типа: 1) явно не имеющие принципиального значения формальные поправки, по согласованию с издательством внесенные непосредственно в текст перевода; 2) исправления, затрагивающие смысловой аспект высказываний и относящиеся к фактуальной информации. К первому типу относятся ошибочное написание некоторых фамилий (Розвадовский, Кропоткин, Карелин, Ф. Сологуб и др.), неверные заглавия, например, брошюры Л. А. Блока «Политическая литература России и о России» (в немецком оригинале книги Ф. Степуна она названа *Polemische Literatur usw.*); газета «Звезда» ошибочно названа журналом, «Автобиография» Блока — «Воспоминаниями», журнал «Новый путь» назван *Zeitschrift Putj* (рецензия Блока, о которой идет речь в тексте, опубликована в журнале «Новый путь», 1903; № 4. С. 164–165) и др. При переводе уточнено официальное наименование Синода — Святейший, не правительствующий (*regierend*), как значилось в оригинале Ф. Степуна, и некоторые другие подобные неточности. Исправления второго типа предпринимались в подстрочных примечаниях к тексту; замеченные в немецком тексте неточности представляют собой упущения, возникшие, возможно, из-за редакторской недоработки или просто по недосмотру. Например, Ф. Степуном упоминается «жена философа, публициста

и романиста Мережковского, печатавшая стихи *под псевдонимом Зинаида Гиппиус*, (“die unter dem Pseudonym Sinaide Hippius dichtete” (MW, 301)), хотя это ее настоящее имя, а не псевдоним; упоминается учредитель книгоиздательства «Мусaget» Эмиль Метнер, далее же — «его брат, известный в России композитор Карл Метнер» (sein Bruder, der in Russland bekannte Komponist Karl Medtner” (MW, 301)), который «разработал тему зари в своей симфонии фа-минор». В действительности речь идет о Николае Метнере (в частности, Белый в «Воспоминаниях о Блоке» пишет: «...гениальному брату Н. Метнеру, вынужшему звук зари в своей первой сонате симоль, написанной в 1901–1902 годах») [3, с. 297].

Б) Исправления, предпринимаемые в *цитатах* в результате сверки цитат, приводимых в немецком переводе, с русскими оригинальными текстами. Например, иллюстрируя свои соображения о творчестве Белого, Ф. Степун приводит несколько фрагментов из «Второй симфонии» в переводе на немецкий; перевод в целом очень точен, но обратил на себя внимание допущенный Ф. Степуном пропуск отрицания, которое присутствует в оригинале А. Белого; крохотный пропуск, меняющий смысл фразы на прямо противоположный и нарушающий логическую связь с последующим контекстом ликвидирован в русском переводе, без какого-либо комментария, так как очевиден его непреднамеренный характер:

«... 2. ... Черная гостя села боком к огромному зеркалу. Она была родственницей и завела речь о печальных обстоятельствах.

3. У нее умер сын. Сегодня она схоронила его. Теперь она осталась одна во всем мире.

4. Никого у нее не было. Никому она не была нужна.

5. Получала она пенсию. Уже десять лет ходила в черном.

6. Так она говорила. Слезы *не* капали из глаз.

7. И голос ее был такой же, как всегда. Постороннему казалось бы, что на губах ее мелькала улыбка..

8. Но это было горе».

Удалось уточнить источник одного из анализируемых Ф. Степуном беловских звукоподражательных неологизмов. Ф. Степун рассматривает стилистические особенности романа «Серебряный голубь» и приводит пример: “Das Geräusch, das das einwickelnde Papier macht, benennt Belyj mit dem nicht existierenden Wort *scheptuschiritj*” (MW, 309) — «Шуршанье бумаги, в которую что-то заворачивают,

Белый передает словом, которого в русском языке нет — “шептуширить”...» Русский глагол воспроизведен Ф. Степуном в немецкой транскрипции. В «Серебряном голубе», этого авторского неологизма нет — он встречается в тексте «Крещеного китайца»: «...“шушу”, — шептуширит бумага, взвивается листик, и грохает что-то...» [5, с. 171].

Уточнены заглавия произведений Н. Бердяева: «Твердость его позиции доказывает напечатанная в 1952 году в Дармштадте книга “Царство духа и царство кесаря”» — у Ф. Степуна она названа “Das Reich des Gottes und das Reich des Caesar”; обсуждая книгу “Дух и реальность” и ее важнейшую главу, Ф. Степун пишет: «Das für unsere Frage entscheidende Kapitel dieses Büchleins heißt: “Die Objektivierung des Geistes. — Symbolismus und Objektivierung”» (MW, 121). Эта глава в книге Бердяева имеет название «Объективация духа. Символизация и реализация».

Таковы некоторые примеры, иллюстрирующие характер исправлений, потребовавшихся при переводе.

2. Автоцитирование

А) Включение в текст не маркированных цитат, *переведенных* на немецкий язык; оно наиболее частотно в мемуарной части очерка об Андрее Белом: с ним автора на протяжении многих лет связывали добрые отношения — он посвятил Белому не одну страницу в «Бывшем и несбывшемся», а также некролог и эссе мемуарного характера. Не маркированные Ф. Степуном отрывки из этого эссе [10, с.191–202], переведенные на немецкий язык, удалось идентифицировать на основе лингвистического анализа: целые фрагменты русского текста Ф. Степуна нами транспонированы в текст перевода. Ниже она выделены курсивом:

«...Замкнутость созданного Белым мира в одиноком «я», без доступа к сотворенной Богом действительности, эта *самозамкнутость «я»*, замкнутость мира в личности, приводит к тому, что Белый *носитя по океанским далям своего собственного «я»*, гонимый всеми ветрами, *не находя берега, к которому можно было бы причалить. Время от времени он, захлебываясь от радости, оповещает: «берег!»* — но каждый очередной берег Белого при приближении к нему снова оказывался занавешенной туманами на миг отвердев-

шей «конфигурацией» волн. <...> К многообещающему началу внезапно наставшего культурного возрождения примешивались крайне мрачные и нездоровые явления. <...> К этим запахам духовного растления примешивались угрожающие симптомы политического недуга. Под Москвой горели леса, а в рабочих кварталах готовилась вновь разгореться тлеющая революция. То прошел слух, что вечером на бульваре рабочий покрыл последними словами нарядную барыню, мол двум своим великолепным догам она обкарнала уши при хирургах, в то время как бабы в деревне рожают без повитух; то пролетарии жутко пригрозят громадными кулаками в занавешенные окна роскошного ресторана <...> Он ощущал приближающееся землетрясение, был полон предчувствий и старался везде поспеть, все увидеть и узнать, все охватить своим творчеством. В годы московской жизни Андрей Белый с одинаковой страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Возглавив новое художественное направление в русском религиозном символизме, он все с тою же иступленностью воевал против писателей-натуралистов. <...> ... запускал свои статьи, блестящие и содержательные, но несправедливые, шипевшие в воздухе точно бешеные ракеты. <... > Часто он страстно спорил на полулегальных собраниях красных толстовцев, штундистов и православных революционеров, стремившихся в то время к тайному союзу православной церкви и социализма» (Мировидение, 287).

Приведем также примеры подобных включений в немецкий текст «Мировидения» и, соответственно, в перевод на русский язык:

Am großartigsten war er als Diskussionsredner. Hinter dem Rednerpult an einem grünen Tisch sitzt — wie das in Rußland üblich war — eine Reihe geladener Diskussionsredner, unter ihnen Belyj — abwesend, zerstreut, sichtbar in die weiten Fernen seiner Einsamkeit und seines Nicht-Seins entrückt. Es ist nicht leicht, den Blick von ihm zu wenden. <...> Da hockt er wie ein fratzenschneidender Pierrot, das bleiche Gesicht welk zur schwarzen Schulter geneigt, bald blüht er im lichten Schein seines flauenweichen Haares wie eine Pustelblume mit weitgeöffnetem, verlore-nem, um sich irrenden Blick, dann sieht man plötzlich ein heimtückisch grünes, schielendes Wolfsauge. Es ertönt die Stimme des Vorsitzenden: Das Wort hat A. Belyj. Den Kopf in den Schultern eingezogen, schleicht er zum Katheder. Langsam wendet er seinen wahnsinnsbegrnadeten Kopf

nach links und rechts — wo sind die Feinde? — und beginnt zu reden. Anfangs sucht er stotternd nach Worten, nach einiger Zeit kann er ihrer nicht mehr Herr werden.<...> (MW, 288–289) Ср.: *Талантливейе всего бывал Белый в прениях. Позади трибуны, за длинным зеленым столом, как было принято в России, сидят приглашенные ораторы, среди них и Белый, он рассеян, отсутствует, то есть пребывает в какой-то бездне своего одиночества и своего небытия. Трудно отвести от него взгляд. <...> То торчит над зеленым столом каким-то гримасничающим Петрушкой с головой набок, то цветет над ним в пухе волос и с ласковой лазурью глаз каким-то бездумным одуванчиком, то вдруг ощерится зеленым взором и волчьим оскалом... Но вот «слово представляется Андрею Белому». Белый, ныряя головой и плечами, протанцовывает на кафедру. Безумно вдохновенной своей головой возникает над нею и, озираясь по сторонам (где же враги?), ... начинает возражать: сначала ища слов, в конце же всецело одержимый словами, обуреваемый их самостоятельной в нем жизнью. <...> [10, с. 193].*

Es war spät im Herbst, Belyj kam zu uns in der Dämmerstunde, in der man in Moskau die Vorhänge zuzieht und die Öllampen anzündet. In meinem Arbeitszimmer tauchte er unter einer Portiere hervor. Vor dem Fenster stehend, hinter dem eine alte Pappel in das verschneite Nichts winterlicher Dämmerung hinschied, umfaßte er mit nachtwandlerisch verlorenem Blick meinen großen Schreibtisch, sagte etwas darüber, wie schön es wohl an ihm zu arbeiten wäre, sank in den Sessel und versank in sich selbst. Es war klar, daß der lange Weg zu uns den schöpferischen Prozeß seiner Phantasie nicht abzustellen vermocht hatte, und daß vor seinem geistigen Auge sich unsichtbare Welten mit stereoskopischer Plastik verwirklichten (MW, 289).

Стояла совсем поздняя осень. Белый пришел к нам в тот сумеречный час, когда в Москве спускают шторы и зажигают лампы. В мой кабинет с большим письменным столом у окна он вынырнул из-под портьеры передней. <...> Остановившись перед окном, за которым в заснеженной пустоте зимних сумерек умирал старый тополь, он обвел блуждающим взором мой стол и блаженно улыбнулся вопросом: «А вам тут очень хорошо работать?». Затем опустился в кресло и отошел в себя. Я сразу почувствовал, что, собравшись поговору к нам, он не выключил в себе творческого мотора и что перед ним клубятся стереоскопически четко какие-то незримые миры

[10, с. 195] — и далее, на протяжении трех с половиной страниц, до конца очерка о Белом. Меньше по объему автоцитаты, представляющие собой фрагменты из текста «Бывшего и несбывшегося». Весьма вероятно, Ф. Степун обращался к тексту издания своих мемуаров на немецком языке (Stepun F. *Vergangenes und Unvergängliches*. Heidelberg, 1950). При работе над переводом использовалась русская версия «Бывшего и несбывшегося»: СПб.: Алетейя, Издательская группа «Прогресс — Литера», 1994, далее ссылки даются на это издание). Небольшие, по сравнению с приведенными выше пассажами, отрывки из «Бывшего и несбывшегося» были внесены нами в перевод там, где удалось выявить их текстуальные соответствия в немецком оригинале «Мировидения», например:

Als Belyj aber auf Ramses II. zu sprechen kam, stand der Vertreter der Polizei auf und verbot dem Redner, diesen Namen zu wiederholen (MW, 327). Ср.: «Вернувшись из путешествия, Белый читал лекцию о Египте. <...> Но как только Белый назвал Рамзеса Второго, присутствовавший представитель власти встал и внушительно попросил имени фараона не называть» (БЫВ., 215).

Er ist kein Redner, und doch verfügt er über eine einzigartige Redegewalt; am weiten Horizont seines Bewußtseins wetterleuchten ununterbrochen neue Phantasmen, Visionen, Gedanken. Seine weitgreifenden Assoziationen verbinden im Fluge die entgegengesetztesten Gedanken zu paradoxen, aber immer eigenartig neuen Gedankengefügen. Je genialer er spricht, desto sichtbarer wird die Logik der Rede durch die Phonetik forciert. Alle objektiv systematische Terminologie wird zur symbolischen Signalisation. Streckenweise verdunkelt sich die Rede bis zur völligen Unfaßbarkeit ihres Sinnes. Doch schwindet dem intuitiv begabten Zuhörer keinen Augenblick die Gewißheit, daß der dunkel gewordene Sinn sofort wieder sichtbar werden wird, wie die Landschaft vor den Fenstern eines Expreszuges, der einen Tunnel durchrast (MW, 289). Ср.: Он не оратор, но говорит изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхает зарницами неожиданнейших фантазий, видений, мыслей. Своей ширококрылой ассоциацией он в полете речи связывает во все новые парадоксы самые, казалось бы, несвязуемые друг с другом мысли. Чем гениальнее его речь, тем очевиднее логика его речи форсируется фонетикой. Вот блистательно взыгравший ум внезапно превращается в заумь, философская терминология — в символическую сигнализацию, минутами смысл речи почти исче-

зает. Но наделенного интуицией слушателя ни на минуту не покидает уверенность, что заумь вот-вот проявится» (Быв., 216).

В очерке о Вл. Соловьеве Ф. Степун довольно точно излагает приведенный им и в «Бывшем и несбывшемся», глубоко значительный для автора разговор с солдатом:

“Einen Menschen, — *meinte das schlichte Bäuerlein*, — kann man ja durch eine Waffe überhaupt nicht töten, denn *Töten heißt, die Seele des Menschen vergiften*, ihm seinen Glauben nehmen. *Mit der Waffe*, — meinte der sibirische Schütze, — *kann man den Menschen nur vorzeitig ins Jenseits überführen, wo er ja weiterlebt* und, wenn er gar als Held gestorben ist, vielleicht sogar noch besser weiterlebt, als wenn er zu Hause geblieben wäre”» MW, 71). Ср: «Этот простой крестьянин сказал: *“Убить означает душу испортить, озлобить ее, поднять против Господа Бога. Оружием... убить бессмертного человека... никак невозможно... можно только до срока отправить человека на тот свет, где ему в вознаграждение за понесенное страдание можно будет очень даже хорошо устроиться”*» (Быв., 294).

Б) Цитирование автором своего собственного более раннего текста, содержащего другую цитату. Такое автоцитирование мотивировано, как видно, именно желанием автора точно воспроизвести в своем новом тексте цитату из чужого произведения, содержащую, например, изящную, поэтичную характеристику. Ср. в следующем отрывке:

Berdjajew wurde im Jahre 1874 im goldenen Kiew, der Hauptstadt des vormoskowitischen Rußlands, geboren, eines Rußlands, das, wie die Zeitschrift “Sofia” meinte, *“ritterlicher, lichter und leichtbeschwingter”, vom Winde des westlichen Meeres öfters angeweht und sich der geheimnisvollen Verbundenheit mit dem Geiste der Antike und dem frühen Christentum bewußter war*, als das moskowitische nachtatarische Rußland (MW, 94). Ср: «...обложки “Софии”, богато иллюстрированного роскошного журнала, ставившего своею задачею ознакомление русской публики с Россией 14-го и 15-го веков *“более рыцарственной, светлой, легкой, более овечьной ветром западного моря и более сохранившей таинственную преемственность античного и первохристианского юга”*» (Быв. 162). Ср. также: «Русские видели в философии Канта своего рода *“наставление к блаженной жизни”*, если воспользоваться выражением Фихте. Это подтверждает бывший гейдельбергский студент, а ныне профессор богосло-

вия Русской парижской теологической школы Зандер. <...> Есть и более весомое свидетельство, оно принадлежит православному богослову профессору Флоровскому, которого решительно нельзя заподозрить в чрезмерных симпатиях к Канту...» (Мировидение, 293). Далее, однако, следует цитата не из Г. Флоровского, а из статьи Л. Зандера о работе Г. Флоровского «Пути развития русского богословия»: «Психология философов становилась все более религиозной и даже русское неокантианство имело тогда своеобразный смысл. Гносеологическая критика оказывалась как бы методом духовной жизни, — и именно методом жизни, а не только мысли. И такие книги, как «Предмет знания» Г. Риккерта или «Логика» Г. Когена не читались ли тогда именно в качестве практического руководства для многих упражнений, точно аскетические трактаты». Этот же отрывок из статьи Л. Зандера Ф. Степун приводил ранее в своей статье «Россия между Европой и Азией».

В) Цитирование своих собственных выражений, вероятно, мотивированное желанием автора еще раз использовать удачно найденные яркие средства образности или меткие характеристики. Так, переосмысливая некоторые свои наблюдения, ранее зафиксированные в «Бывшем и несбывшемся», Ф. Степун в «Мистическом мировидении» повторно использует отдельные резко негативные характеристики: Die Stimme dieser Enttäuschung erklang im Jahre 1908 scharf und autoritär im Almanach “Wegweiser”. Berdjajew schrieb über die “*obskurante Volksvergötterung*”, Frank über den “*sektiererischen Fanatismus*”, Bulgakow über die “*politische Hysterie*” (MW, 9); ср.: «Резким и непререкаемым тоном это разочарование (в том, как проходила революция. — Г. С.) заявило о себе в 1908 году в статьях сборника «Вехи». Бердяев писал о “*народническом мракобесии*”, Франк о “*сектантском изуверстве*”, Булгаков об “*общественной истерике*”» (Мировидение, 9); ср.: «...споры, кипевшие одно время в Москве вокруг покаянного сборника «Вехи», совсем не интересовали провинцию. Провинциальные представители свободных профессий, земские деятели, народные учителя и учительницы не чувствовали себя виновными ни в «*народническом мракобесии*» (Бердяев), ни в «*сектантском изуверстве*» (Франк), ни в «*общественной истерике*» (Булгаков)...» (Быв., 159–160). Тем самым автор сообщает немецкому читателю как существенное содержание и пафос статей Н. А. Бердяева, С. Л. Франка и С. Н. Булгакова, так

и остроту характеризуемой общественно-политической ситуации. Примечательно, что, по свидетельству исследователя творчества Ф. Степуна А. А. Ермичёва, «в сборнике “Вехи” таких определений, как “обскурантизм народобожия”, “сектантский фанатизм”, “политическая истерия”, нет» [11, с. 139]; это так, но, по-видимому, здесь сделан буквальный перевод соответствующих немецких сочетаний (перевод перевода).

3. Цитирование произведений других авторов

В качестве иллюстраций к своим размышлениям и выводам Ф. Степун приводит обширные выдержки из переведенных на немецкий язык прозаических и стихотворных текстов или целые стихотворения. В большинстве случаев это эксплицитные цитаты. Кроме того, встретились следующие выдержки.

а) Цитаты, маркированные кавычками, снабженные указанием на автора, но не на источник. Так, в разделе, посвященном «Симфониям» Андрея Белого, удалось идентифицировать ряд переведенных на немецкий цитат из «Воспоминаний» их автора, например: Medtner aber sagte: “Man atmet Ihre Symphonie wie die Luft nach dem Gewitter. Mich freuen an ihr die Luft und die Sonnenaufgänge. Aus dem Staub haben Sie ein Stück reiner Luft herausgegriffen. Sie haben Moskau auf neue Weise beleuchtet. Ihre Symphonie ist die Musik der Morgenröte”» (MW, 302); ср.: «...Метнер же сказал: «Симфонией дышишь, как после грозы... В ней меня радуют: воздух и зори; из пыли вы выхватили кусок чистого воздуха, Москва — осветилась: по-новому... «Симфония» — музыка зорь» (Ф. Степун, должно быть, заимствовал отзвук Э. Метнера из книги А. Белого «Начало века»).

б) Цитаты, не маркированные кавычками, но снабженные указанием на автора. Таковы отдельные включения в пересказанном по-немецки фрагменте из очерка Марины Цветаевой «Пленный дух. (Моя встреча с Андреем Белым)» (впервые — Париж, 1934 г.):

Seine Frau Nelly kam ihm aus Dornach nach Berlin entgegen. An ihrer Seite befand sich ein recht hübscher, aber mehr als mittelmäßiger Dichter. Belyj war der Meinung, daß sie diesen Dichter nie geliebt hätte, sondern ihm die Annäherung nur deshalb erlaubt hatte, weil sie an Belyj Rache üben wollte. Wofür? Für seine Beschreibung ihrer gemeinsamen Reise durch Sizilien. Sie war gekränkt durch zu viel *verräterische*

Intimität der Beschreibungen, zu viel an die Öffentlichkeit gebrachte *ehemännliche Autorität* und manches andere mehr. (MW, 328–329). Ср.: «Нелли, жена, сама приехала к нему (Белому. — Г. С.) в Берлин из Дорнаха. Ее сопровождал молодой человек, очень милостивый, но как поэт очень заурядный. По убеждению Белого, Нелли этого поэта никогда не любила и сошлась с ним лишь потому, что хотела отомстить ему, Белому. За что? За то, как он описал их совместное путешествие по Сицилии. Ее оскорбила предательски откровенная “интимность” рассказа, выставленные на публичное обозрение “собственничество”, “печать мужа” — Белого и многое другое» (Мировидение, 326).

В соответствующем месте очерка Цветаевой [15, с. 253] воспроизводится ее разговор с Белым, выделенные нами курсивом слова входят в его монолог, изредка прерываемый репликами собеседницы; в очерке Цветаевой они взяты в кавычки, потому что как бы цитируемый автором — Цветаевой говорящий — Белый, в свою очередь, цитирует высказывания А. Тургеневой (Нелли). Происходит многоуровневое интертекстуальное взаимодействие: цитаты помещены в речь, воспроизведенную рассказчицей (Цветаевой), т. е. третьим говорящим в этом тексте. Ф. Степун, в отличие от Цветаевой, стремящейся передать цитаты особенно точно (что продиктовано деликатным, личным предметом речи), и в данном случае выступая в роли четвертого (!) участника весьма сложной ситуации передачи «чужих слов», приводит их без кавычек.

Надо полагать, Ф. Степун, именно ориентируясь на немецкую читательскую аудиторию, не дал ссылок на источники этих фрагментов — он не ставил себе целью подготовить академическое издание своей книги с соответствующим вспомогательным справочным аппаратом и, вероятно, не хотел отвлекать внимание читателя дополнительными пояснениями, которые превратили бы «Мистическое мировидение», и без того чрезвычайно насыщенное разнообразнейшей фактуальной информацией, в своего рода краткий энциклопедический словарь русского символизма; это подтверждается и тем, что в своем «Предисловии» Ф. Степун предупреждает читателей: он поведет рассказ «о почти совершенно не известном в Западной Европе культурном феномене» и свою главную задачу видит в том, чтобы передать дух эпохи.

в) Цитаты, содержащие изменения текста, вызванные его интерпретацией. В переведенных на немецкий язык цитатах встречаются расхождения с текстом оригинальных произведений, которые вряд ли возможно рассматривать как явления случайного характера, скажем, Ф. Степун цитирует в своем переводе на немецкий «Вместо предисловия» А. Белого: «Тема метелей — это смутно зовущий порыв... куда? — пишет Белый, — К жизни или смерти? К безумию или истине? И души любящих растворяются в метели» (Мировидение, 300). Однако в оригинале Белого здесь во втором вопросе «безумие» противопоставлено «мудрости», у Ф. Степуна же вместо «мудрость»—(Weisheit) — «истина»—(Wahrheit): (ср: Zum Leben oder zum Tod? Zum Wahnsinn oder zur Wahrheit? (MW, 303)); чем вызвана замена одного философски значимого понятия другим, не менее значимым, неясно; ясно, однако, что семантическое сближение «истины» и «мудрости», которое, вероятно, привело к данной замене не случайно и, очевидно, может найти объяснение в общем контексте философского творчества Ф. Степуна.

Своеобразна интерпретация текста в ряде случаев, когда Ф. Степун излагает на немецком отрывки из художественных произведений. Например: «Для героя “симфонии” Сергея Мусатова символы Апокалипсиса, например, безусловно реальны, он убежденно проповедует, что близится Царство Божие, что Жена, облеченная в солнце, родит белого всадника, которому надлежит пасти народы жезлом железным. Жена, облеченная в солнце, предстает Мусатову в обличье синеглазой «сказки». <...> Тут в комнату вбегают хорошенький мальчик с синими очами. Апокалипсический зверь из бездны?.. Оказалось — не мальчик, а девочка, дочь хозяйки, сказки. Мистик *успокаивается*» (Der Mystiker *beruhigt sich* (MW, 305)). Между тем в тексте А. Белого об «успокоении» речи нет, напротив, в соответствующем фрагменте «симфонии» читаем: «Вся кровь бросилась в голову обманутому пророку, и, еле держась на ногах, он поспешил проститься...» [4, с.178]. Подобное снижение эмоционально напряженного тона при переводе текста Андрея Белого прослеживается еще раз: Соловьев в отрывке из «симфонии», приводимом Ф. Степуном в переводе, *flüstert* (MW, 305) — в оригинале же он «крикнул с извозчика: “Конец уже близок: желанное сбудется скоро”» [4, с.169]. Безусловно, Ф. Степун, в совершенстве владевший немецким языком, допустил снижение беловского эмо-

ционального тона неслучайно, но мотивацию изменения тональности нам выявить не удалось.

Вместе с тем, в ряде случаев при цитировании вносятся в текст по-видимому принципиальные изменения. Так, исходя из своего знания умонастроений Белого в описываемый период, Ф. Степун уточняет понятие «философия», цитируя предисловие поэта к одному из его сборников; конкретизация на первый взгляд кажется избыточной, так как уже упомянута «неокантианская литература», однако Ф. Степуну представляется недостаточным конкретизировать понятие лишь с помощью употребления определенного артикля:

«В том же предисловии в новом издании “Урны” мы читаем: “... отдаваясь усиленному занятию философией в 1904–1908 годах, автор все более и более приходил к осознанию губительных последствий переоценки неокантианской литературы; философия < неокантианства, — уточняет Ф. Степун > влияет на мироощущение, производя разрыв в человеке на черствость и чувственность” <...>». Подобные конкретизирующие дополнения в целом свойственны также тексту очерка о Н. Бердяеве.

По-видимому, желанием несколько упростить изложение, т. е. не вдаваться в подробности, которые, по мнению Ф. Степуна, были бы излишними для немецкого читателя, — о чем уже говорилось выше, — и стремлением не отвлекаться от основной темы, объясняется в двух случаях снятие указаний на источники цитат, приводимых А. Блоком в дневнике; маркированные кавычками выдержки из дневника поэта Ф. Степун помещает в свой текст. В первом случае: «...Блок размышляет о своей и общей человеческой жизни: “...Лучшие идеи, от недостатка связи и последовательности, как бесплотные призраки, цепенеют в нашем мозгу.<...> Человек <...> лишается всякой уверенности, всякой твердости, <...> и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во всех странах; но у нас это черта общая”». После цитаты (выделенной здесь курсивом) Блок в скобках указал: Чаадаев (Запись от 27 ноября 1911 г.). В статье «Историософское и политическое мирозерцание Александра Блока» Ф. Степун подробно анализирует именно эти строки и отмечает существенность данной «большой выписки из философского письма, в котором говорится о заблуждениях современного человека» и т. д. [12, с. 165]. В немецкоязычном «Мистическом мировидении» ссылка на Чаадаева, конечно, нуж-

далась бы в развернутом комментарии, а Ф. Степун ограничился лишь нужными ему высказываниями, не уточняя, кто их автор. Вероятно, сходными мотивами объясняется и соединение двух дневниковых записей Блока как бы в одну, а также отсутствие указания на то, что слова «с величием царицы» (у Степуна: *mit der Erhabenheit der Königin*, без кавычек, наличествующих в оригинале) представляют собой опять-таки цитату — из стихотворения Я. Полонского: «... *крещусь мысленно и призываю ту великую Женственную тень, которая прошла передо мной “с величием царицы”*» (А. Блок. Дневник, январь, 1902).

г) Цитаты, приведенные, вероятно, по памяти. Некоторые цитаты претерпели изменения при переводе на немецкий язык, возможно, потому, что Ф. Степун привел их по памяти, например: *Dieses Thema <...> ist zum ersten Male im Zusammenhang mit dem Untergang der Titanic bei Blok aufgeklungen. Als Blok davon erfuhr, vermerkte er in seinem Tagebuch: “Gott sei Dank, es gibt noch einen Ozean!”* (MW, 363); «Впервые эта тема <...> прозвучала у Блока в связи с гибелью “Титаника”. Узнав о ней, он записал в дневнике: “Слава Богу, есть еще океан!”». В таком виде эти слова приведены даже в первом российском издании «Бывшего и несбывшегося», но во втором исправлены в соответствии с источником: «*Гибель “Titanica”, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)...*» (Ср.: А. Блок. Дневник, 5 апреля 1912 г.). Претерпела искажение в переводе на немецкий также маркированная кавычками и указанием на автора цитата из С. Есенина; ее источник — поэма «Инония» — не назван (возможно, потому, что перевод названия поэмы на немецкий сопряжен с известными сложностями. Ф. Степуну же важно другое: *Wäre Belyj von Anfang an ein überzeugter atheistischer Marxist gewesen, hätte er von seiner Jugend an den Wunsch gehabt “Gott ins Gesicht zu spucken und ihm seinen Bart auszureißen” (Jessenin)? Dann wäre alles verständlich* (MW, 352). У Есенина этой цитате соответствуют строки: «*Тело Христово выплюнуть изо рта, ... даже Богу выщипать бороду*», отличающиеся от перевода как в смысловом аспекте, так и формально.

д) Соединение цитат. Вероятно, непреднамеренно произошло сопряжение двух формально (но не логически) непосредственно не связанных высказываний А. Блока: в очерке Степуна читаем: «Лишь уяснив себе эти взаимосвязи, можно понять высказывания

Блока, которые мы находим в одной из его важнейших статей — “Крушение гуманизма”: “*Всякое движение рождается из духа музыки; только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием*” (Мировидение, 360; MW, 367). Источник второго высказывания, как бы продолжающего цитату, начиная со слов «только музыка...» и т. д., — не «Крушение гуманизма», а «Юбилейное приветствие М. Горькому».

Не вполне точно, вернее неполно, передается интервью Блока газете «Эхо» в январе 1918 г. «...Блок отвечал на вопрос официальной анкеты: “Возможно ли примирение интеллигенции с большевиками?”». В оригинале интервью вопрос звучит по-иному: «*Может ли интеллигенция работать с большевиками?*». — «Его ответ был на сто процентов положительным, — продолжает Ф. Степун. — Более того, Блок питает надежду, что в самом ближайшем будущем озлобление интеллигенции против большевиков исчезнет, ибо “у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков”. Того, что вопрос сознательно был сформулирован некорректно, исходя из посылки, что революция вызвана к жизни не интеллигенцией, а пролетариатом, Блок “политически безграмотный”, как он говорит о себе в том же интервью, просто не заметил». Таков вывод Ф. Степуна, однако в интервью Блока непосредственно за цитированным высказыванием следует: «*Интеллигенция всегда была революционна. Декреты большевиков — это символы интеллигенции*» и т. д. [6, с. 218].

Выше мы перечислили и на отдельных примерах показали некоторые наиболее характерные текстологические проблемы, с которыми столкнулись в своей работе переводчики Ф. Степуна; они отражены в моем послесловии — своего рода текстологическом комментарии «О работе над переводом...», включенном в состав издания.

Излишне было бы разъяснять, что именно смена адресата при переводе текста в первую очередь обуславливает внесение необходимых уточнений и комментариев. Достаточно сослаться на мысль Ю. М. Лотмана о том, что, помимо общения между адресантом и адресатом, текст обеспечивает и общение между аудиторией и культурной традицией, выполняет функцию коллективной культурной памяти [8, с. 131]. Если перевод не может быть авторизован,

то в ходе подготовки текста к публикации, даже при плодотворном сотрудничестве с редакторами издательств, многие весьма непростые и трудоемкие задачи решаются переводчиками самостоятельно, и в каждом конкретном случае переводчик обязан обращаться к существующим аутентичным источникам цитируемых или излагаемых автором текстов, не исключая и таких, где цитирование предстает как многоуровневое явление, а число звеньев интертекстуальной «цепи» доходит до трех-четырех. Это необходимо во избежание обратного перевода, который вследствие буквализма может привести — по меньшей мере — к стилистическим искажениям. (Небезынтересно в этой связи, что в упоминавшемся выше сборнике «Воспоминания о Серебряном веке» мемуары Ф. Степуна названы в примечаниях «Прошедшее и непреходящее» — т. е. произошел обратный перевод немецкого заглавия “Vergangenes und Unvergängliches” [10, с. 502].) Еще в 1928 г. Ю. Н. Тынянов в тезисах, написанных в соавторстве с Р. О. Якобсоном, формулируя требования к исследователям языка, подчеркивал: «Индивидуальное высказывание не может рассматриваться безотносительно к существующему комплексу норм» [14, с. 283]. Если же как к «комплексу норм» подойти к авторской системе стилистических средств совокупно с их формальными признаками, то очевидно, что и переводчик должен следовать этому правилу — создавать перевод, не «абстрагируя» индивидуальное высказывание автора оригинала от системы: в противном случае он «неизбежно деформирует и систему художественных ценностей» автора [там же], и порой богатые и далеко простирающиеся интертекстуальные связи и отношения, свойственные его произведению.

Сокращения

- Быв. — *Степун Ф. А.* Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, Издат. группа «Прогресс — Литера», 1994.
- Мировидение — *Степун Ф. А.* Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма. Соловьев, Бердяев, Иванов, Белый, Блок. СПб.: Владимир Даль, 2013.
- MW — *Stepun F.* *Mystische Weltanschauung. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus: Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Belyj, Blok.* München: Carl Hanser Verlag, 1964.

Литература

1. *Арнольд И. В.* Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.
2. *Барт Р.* 1) Основы семиологии / «Структурализм: „за“ и „против“». М.: Прогресс, 1975, с. 131 и далее; 2) Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
3. *Белый А.* Избранная проза. М.: Советская Россия, 1988.
4. *Белый А.* Симфонии. Л.: Художественная литература, 1991.
5. *Белый А.* Собрание сочинений. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М.: Республика, 1997.
6. *Блок А. А.* Сочинения в шести томах. Т. 5. М.; Л.: ГИХЛ, 1962.
7. *Лихачев Д. С.* Текстология. Краткий очерк. М.; Л.: Наука, 1964.
8. *Лотман Ю. М.* Избранные статьи в трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: Александра, 1992.
9. *Рейсер С. А.* Основы текстологии. Л.: Просвещение, 1978.
10. *Степун Ф.* Андрей Белый // Воспоминания о Серебряном веке / сост. В. Крейд. М.: Республика, 1993.
11. *Степун Ф. А.* Два отрывка из книги «Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма» / вступ. заметка и примеч. А. А. Ермичёва // Вестник Русск. христ. гум. акад. 2009. Т. 10, вып. 4. СПб.: Изд-во РХГА, 2009.
12. *Степун Ф. А.* Портреты. СПб.: РХГИ, 1999.
13. *Суренян К.* Мои «Братья Карамазовы» // Мастерство перевода: сборник восьмой. М.: Советский писатель, 1971.
14. *Тынянов Ю. Н.* Проблемы изучения литературы и языка // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
15. *Цветаева М. И.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М.: Эллис Лак, 1994.
16. *Чернявская В. Е.* Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
17. *Kristeva J. Bachtin.* Das Wort, der Dialog und der Roman // Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart / Hrsg. und komment. von D. Kimmich. Stuttgart: Reclam. 1996.

Научное издание

НЕМЕЦКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Вып. III

Антропоцентризм языковых феноменов

Редактор *Е. П. Парфенова*
Компьютерная верстка *Ю. Ю. Тауриной*

Подписано в печать 05.09.2013. Формат 60×84¹/₁₆.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 10,7. Тираж 100 экз. Заказ № 155.

Издательство Санкт-Петербургского университета.
199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21.
Тел. (812)328-96-17; факс (812)328-44-22
E-mail: editor@unipress.ru
www.unipress.ru

Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.